Михаил Лермонтов



ГЛАВНЫЕ КНИГИ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Демон
Поэмы

Поэмы Лермонтова проходят путь от юношеских подражаний Байрону и Пушкину до масштабных мистерий, подводящих итог русскому поэтическому романтизму.

альпина ПРОЗА ПОЛКА

Демон. Поэмы

Михаил Юрьевич Лермонтов

Аннотация

Аннотация

Поэмы Лермонтова проходят путь от юношеских подражаний Байрону и Пушкину до масштабных мистерий, подводящих итог русскому поэтическому романтизму. Давно отверженный блуждал В пустыне мира без приюта: Вослед за веком век бежал, Как за минутою минута, Однообразной чередой.

Михаил Лермонтов



ГЛАВНЫЕ КНИГИ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Демон
Поэмы

Поэмы Лермонтова проходят путь от юношеских подражаний Байрону и Пушкину до масштабных мистерий, подводящих итог русскому поэтическому романтизму.

альпина ПРОЗА ПОЛКА

Михаил Лермонтов

Поэмы

ПОЛКА

альпина
ПРОЗА

Москва, 2024

Все права защищены. Данная электронная книга предназначена исключительно для частного использования в личных (некоммерческих) целях. Электронная книга, ее части, фрагменты и элементы, включая текст, изображения и иное, не подлежат копированию и любому другому использованию без разрешения правообладателя. В частности, запрещено такое использование, в результате которого электронная книга, ее часть, фрагмент или элемент станут доступными ограниченному или неопределенному кругу лиц, в том числе посредством сети интернет, независимо от того, будет предоставляться доступ за плату или безвозмездно.

Копирование, воспроизведение и иное использование электронной книги, ее частей, фрагментов и элементов, выходящее за пределы частного использования в личных (некоммерческих) целях, без согласия правообладателя является незаконным и влечет уголовную, административную и гражданскую ответственность.





Портрет М. Ю. Лермонтова. Петр Заболоцкий, 1837 год{1}

Предисловие «Полки»

Поэмы Лермонтова проходят путь от юношеских подражаний Байрону и Пушкину до масштабных мистерий, подводящих итог русскому поэтическому романтизму.

Алина Бодрова



Какое место поэмы занимают в творчестве Лермонтова?

В современный литературный канон Лермонтов входит прежде всего как лирический поэт и прозаик, автор «Героя нашего времени». Между тем в творческой эволюции поэта чрезвычайно значимую роль сыграл жанр романтической поэмы. Меньше чем за тринадцать лет Лермонтов написал двадцать семь поэм (не считая трех так называемых юнкерских), что почти в два раза превосходит число поэм Пушкина (каковых четырнадцать) и многократно — других русских авторов 1820–1830-х годов. Например, у Евгения Баратынского поэм всего шесть, у Кондратия Рылеева — четыре, из которых три сохранились только в отрывках.



Барский дом в Тарханах{2}

Поэмы были для Лермонтова постоянной творческой лабораторией. В 1828 году он начинает с подражательных и школьных «Черкесов» и «Кавказского пленника», в 1829–1832 годах много экспериментирует, разрабатывая сюжеты из разных эпох и в разных декорациях (Древняя Русь в поэме «Олег», восточная экзотика в «Двух невольницах», каталог европейских стран в «Джюлио»), пишет скабрезные и пародийные поэмы «для своих» в годы пребывания в Юнкерской школе (1832–1834), выходит к новым темам и интонациям в конце 1830-х годов, а над ключе-

вой своей поэмой — «Демоном» — настойчиво работает все эти годы, с 1829 по 1839-й, создав восемь редакций. При этом лишь малую часть этого материала Лермонтов решается опубликовать: при жизни поэта были напечатаны только четыре поэмы («Хаджи Абрек» — 1835; «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова» и «Тамбовская казначейша» — обе 1838; «Мцыри» — 1840), а задуманная публикация «Демона» не состоялась из-за цензурных сложностей. В таком отборе хорошо видна авторская взыскательность Лермонтова, видимо вполне критически относившегося к своим ранним опытам, и ее следует учитывать, когда мы сейчас читаем лермонтовские поэмы, в том числе ранние. На многие тексты стоит смотреть прежде всего изнутри творческой эволюции поэта, видеть в них не столько завершенные и обработанные сочинения, сколько свидетельства разных этапов его стремительно развивавшегося творчества.

Чтобы лучше продемонстрировать темпы этой эволюции, мы открываем подборку ученическими поэмами «Черкесы» (1828) и «Кавказский пленник» (1828, затем показываем сюжетное разнообразие и стилистическое единство опы-

тов 1830–1832 годов («Азраил», «Ангел смерти»), освоение новых стилевых, сюжетных и тематических решений в поэмах 1833–1837 годов («Хаджи Абрек», «Сашка», «Тамбовская казначейша») и, наконец, обращаемся к наиболее поздним, вершинным поэмам, входящим в литературный и школьный канон, — «Песне… про купца Калашникова», «Демону» и «Мцыри».

Что это за жанр — романтическая поэма?

Жанр романтической поэмы оказался в центре внимания европейской и затем русской критики и публики в конце 1810-х — начале 1820-х годов, то есть почти за десять лет до того, как совсем юный Лермонтов начал пробовать в нем свои силы. Возникновение и популярность жанра были связаны с теми глобальными сдвигами в мировосприятии и отношении к литературному и в целом художественному творчеству, которые можно назвать «романтической революцией». Подражание античным, классическим образцам и «прекрасной природе», ориентация на систему жанров и стилей, поддерживаемых многовековой традицией, были отвергнуты в пользу выражения непосредственных переживаний и уникальной душевной биографии субъекта творчества — поэта-творца[1]. А если задача и смысл

искусства — в выражении субъективности, индивидуального опыта, то прежние жанровые конвенции и требования стилевого единства не могли более определять авторскую поэтику, а «старые» жанры стали восприниматься если не как точка отталкивания, то как материал для поэтических экспериментов.

Романтическая поэма возникла как ответ классической эпопее, чьи принципы не соответствовали ни новым представлениям об истории, ни самоощущению человека Нового времени, модерной эпохи. Вместо эпических героев мифов или исторического прошлого романтическая поэма изображала человека, личность, с чувствами, рефлексией и психологией. Вместо далеких событий из национальной истории выбиралось прежде всего драматическое, яркое происшествие, которое часто разворачивалось в экзотическом пространстве (Восток, Юг, Север). Вместо дистанцированного от героев и читателей эпического сказителя в романтической поэме возникал эмоционально вовлеченный герой-повествователь, который мог приближаться как к своим героям, так и к читателям.

Европейскую популярность такой тип повествования получил в 1810-х годах благодаря поэмам

Джорджа Гордона Байрона (1788–1824), чье творчество и личность оказали огромное влияние как на лирику, так и на бытовое поведение людей пушкинского и лермонтовского поколений. Английский аристократ Байрон с юности эпатировал светское общество, не желая считаться с социальными условностями, и постепенно сделал свою частную жизнь частью литературного образа. Биографические события (путешествие по Востоку, женитьба, разрыв с женой и отъезд из Англии в 1816 году, европейское путешествие по Швейцарии и Италии, наконец, участие в Греческом восстании[2] и внезапная смерть в Миссолунги в апреле 1824 года) подсвечивали многие тексты Байрона — а тексты, в свою очередь, проецировались на чувства и личность автора. Таким образом, например, читали поэму Байрона «Паломничество Чайльд-Гарольда» (1812–1818), в которой описывалось европейское путешествие молодого, но уже пресыщенного жизнью и разочарованного героя. Это же справедливо для более сюжетных «восточных повестей» — поэм «Гяур» (1813), «Абидосская невеста» (1813), «Корсар» (1814).



Джордж Байрон. Гравюра с картины Джорджа

Сандерса{3}

«Восточные повести» Байрона отличались яркой экзотикой в выборе героев и места действия. Персонажи были обуреваемы сильными страстями, повествование строилось не последовательно, а с сюжетными перебоями и флешбэками и сопровождалось многочисленными авторскими отступлениями. Именно такая повествовательная модель была освоена русскими читателями Байрона, которые подражали сначала ему, а затем и складывающейся в 1820-х годах традиции русской романтической поэмы. Важнейшую роль в развитии жанра в России сыграли «южные» поэмы Пушкина: «Кавказский пленник» (1820–1822), «Братья разбойники» (1821–1823), «Бахчисарайский фонтан» (1821–1823). Вослед Пушкину, но на другом материале романтические поэмы в 1820-х годах писали Баратынский, Рылеев, Иван Козлов. Самая популярная поэма Баратынского — «Эда» (1823–1825) — открывала для жанра «северное», оссианическое[3] пространство — Финляндию, которая тогда входила в состав Российской империи. Другие экзотические окраины — Малороссию и Сибирь — сделал местом действия своей исторической романтической поэмы «Войнаровский» (1823–1825) Кондратий

Рылеев, трагическая судьба которого обеспечила популярность «Войнаровского» и других его сочинений в рукописной традиции: эти тексты распространялись в многочисленных списках. Драматические сюжеты, также привязанные к событиям русской истории, положил в основу своих поэм «Чернец» (1823–1825) и «Княгиня Наталья Борисовна Долгорукая» (1824–1828) слепой поэт Иван Козлов. Ему же принадлежит поэтический перевод поэмы Байрона «Абидосская невеста» (1826), который, наряду с «Шильонским узником», переведенным Жуковским (1822), также стал фактом русской истории жанра[4].

Во второй половине 1820-х годов эти авторы и тексты пользовались большой популярностью, а потому неудивительно, что юный Лермонтов сначала познакомился с русской традицией жанра. Как отмечал замечательный исследователь лермонтовского творчества Вадим Вацуро, «первая дошедшая до нас рукописная тетрадь Лермонтова, датированная 1827 годом, содержит переписанные его рукой “Бахчисарайский фонтан” Пушкина и “Шильонского узника” Байрона в переводе Жуковского», что свидетельствует о роли творческого воспитания Лермонтова «под знаком русской “байронической поэмы” в ее

наиболее высоких образцах»1. К оригинальным сочинениям Байрона и диалогу с ними Лермонтов обратится позднее, уже пройдя через опыт освоения «русского байронизма».

Когда и как написаны поэмы Лермонтова?

Считается, что самый ранний поэтический текст Лермонтова — это поэма «Черкесы». Помета в рукописи — «В Чембар<е> за дубом» — позволяет связать создание «Черкесов» со временем пребывания Лермонтова в Чембаре, уездном городе Пензенской губернии (ныне — город Белинский), летом 1828 года2. К тому же 1828 году, но уже к осени, когда Лермонтов вернулся в Москву и начал посещать занятия в Московском благородном пансионе, относятся два следующих опыта в жанре поэмы — «Кавказский пленник» и «Корсар». Все эти три поэмы Лермонтов хотел поместить в самодельную книжечку, им самим оформленную — с красивыми заставками и рисунками: один из разворотов можно увидеть в Лермонтовском зале Литературного музея Пушкинского Дома в Петербурге. Такое оформление рукописи и старательно выписанные названия на титулах («Кавказский пленник. Сочинение М. Лермонтова», «Поэма Корсар. Сочинение М. Лермонтова») — признаки явных поэтических амбиций 14-летнего пансио-

нера, хотя, конечно, это совсем еще ученические и более чем подражательные опыты.

По точному определению Бориса Эйхенбаума, «поэмы эти являются своеобразным упражнением в склеивании готовых кусков»3, монтажом фрагментов из романтических поэм Пушкина и Козлова, русских переводов Байрона и уже канонизированных образцов лирики других жанров («Славянка» Жуковского, «Сон воинов» Батюшкова, «Ермак» и «Освобождение Москвы» Дмитриева). На этом этапе Лермонтов смело заимствует целые фрагменты чужих текстов, лишь незначительно их изменяя. Приведем лишь один пример. Вот фрагмент из поэмы Ивана Козлова «Княгиня Наталья Борисовна Долгорукая»:

Заутрень сельских дальний звон
По роще ветром разнесен;
<…>
О, если б ты, прекрасный день,
Гнал мрачные души волненья,
Как гонишь ты ночную тень
И снов обманчивых виденья!

А вот — из «Черкесов» Лермонтова:

О, если б ты, прекрасный день,
Гнал так же горесть,
страх, смятенья,

Как гонишь ты ночную тень
И снов обманчивых виденья!
Заутрень в граде дальний звон
По роще ветром разнесен…

Характерно, что юный сочинитель «присваивает» не только романтические тексты Пушкина, Козлова, Жуковского, Батюшкова, но и фрагменты из од Ломоносова и поэтических сочинений Ивана Дмитриева, демонстрируя знание складывающегося национального канона и своеобразный «протеизм» стиля. Уже на этом этапе Лермонтов использует «готовое слово» из самых разных жанров, а их выбор определяется авторскими установками в конкретном фрагменте. Природу он хочет описывать в элегической тональности и подключает узнаваемые строки из элегий или элегизированных романтических поэм, битву же рисует по образцу одических батальных описаний и не гнушается прямыми заимствованиями из Ломоносова. Этот принцип поэтики — использование «готового слова» — станет для Лермонтова основополагающим, позже он будет делать то же самое с собственными стихами, «составляя новые из старых кусков»4: оригинальность поэтического языка и художественных образов интересует его гораздо

меньше, чем их экспрессивность и соответствие эмоциональному состоянию героя или автора.

Через такое прямое подражание и цитатный монтаж Лермонтов начал осваивать поэтическую фразеологию эпохи и механизм стихов, и его пансионский преподаватель Алексей Зиновьев находил, что даже в насквозь подражательных и цитатных «Черкесах» некоторые стихи хороши (а понравился ему небольшой фрагмент, начинающийся «Денница, тихо поднимаясь…»).

В период с 1829 по 1832 год Лермонтов очень много пишет, пробуя силы в различных поэтических жанрах (балладе, песне, элегии, мадригалах, эпиграммах, посланиях), в том числе обращаясь к разным вариациям романтической поэмы. Опираясь на традицию европейского и русского оссианизма, романтическое увлечение национальным прошлым, выразившееся как в собственно исторических текстах («История государства Российского» Карамзина), так и в художественных сочинениях («Думы» и исторические поэмы Рылеева, «Полтава» Пушкина, исторические романы вальтер-скоттовского типа), Лермонтов пишет целый ряд исторических поэм, преимущественно на сюжеты из русского Средневековья («Олег», «Последний сын вольно-

сти», «Исповедь», «Литвинка», «Боярин Орша»). Впоследствии этот интерес приведет его к «Песне про… купца Калашникова» (1836–1837). За счет иного метрического и стилистического оформления поэма на первый взгляд кажется чуждой более ранней лермонтовской поэтике, но на уровне сюжета, характеров героев, расстановки персонажей она тесно связана с другими его текстами.

С другой стороны, Лермонтов отдает дань европейскому ориентализму (поэмы Байрона и Томаса Мура) и увлеченно разрабатывает восточные сюжеты. Библейская окраска ориентальных тем, характерная как для европейской, так и для русской литературной традиции, обусловила универсалистскую, «астральную» (по выражению Вацуро) линию в «восточных поэмах» Лермонтова5. Таковы его ранние поэмы «Азраил» (1831) — об ангеле, отвергнутом Богом и земной возлюбленной, «Ангел смерти» (1831) — о милостивом ангеле, чьей жертвы не смог оценить земной гордец Зораим; отсюда же проистекает замысел поэмы о Демоне, ранние редакции которой лишены конкретной географической привязки.

Одновременно Лермонтов развивает ориентальные сюжеты на уже освоенном русской

литературной традицией кавказском материале. К этой группе текстов относятся поэмы «Каллы́» (1830–1831), «Измаил-Бей» (1832), «Аул Бастунджи» (1832–1833), «Хаджи Абрек» (1833–1834), сюда же примыкает и более поздняя поэма «Мцыри» (1839), а также последние редакции «Демона», в которых действие разворачивается на Кавказе.

При этом, как показывает творческая история «Демона» и многочисленные реминисценции из ранних поэм в «Мцыри», между этими тематическими группами не было и не могло быть непреодолимых границ. Во всех поэмах, вне зависимости от конкретного места действия и декораций, мы находим героя — носителя одного и того же эмоционального комплекса: этот герой одарен тонкой, чувствительной и пылкой душой, жаждет подвигов, любви и признания, но в силу разных обстоятельств оказывается одинок, отвергнут и непонят и оттого испытывает глубокое разочарование, а порой и ненависть к людям и миру. Этот общий эмоциональный комплекс, характерный не только для поэм, но и для всего творчества Лермонтова[5], позволяет объяснить столь обширные и частые переклички между разными его текстами. Так, проникновенный монолог из ранней поэмы «Исповедь»

(1831), действие которой происходит в условно-литературной Испании, переходит к герою «исторической» поэмы «Боярин Орша» (1835–1836), связанной с эпохой Ивана Грозного, а затем передается кавказскому послушнику Мцыри.

Современный быт — городской и усадебный, герои из обыкновенной жизни — появляются в поэмах Лермонтова в середине 1830-х годов, когда пишутся поэмы «Монго» (1836), «Сашка» (1835–1836) и «Тамбовская казначейша» (1837–1838). К этой же линии примыкает и более поздняя неоконченная «Сказка для детей» (1839–1841). Их яркая особенность, помимо темы, — иной образ автора и иная, ироничная повествовательная интонация, разительно отличающаяся от пафосной серьезности и лиричности тона других лермонтовских поэм. В этом решении Лермонтов прежде всего ориентируется на традицию пародийных металитературных[6] поэм Байрона («Дон Жуан», «Беппо») и Пушкина («Граф Нулин», «Домик в Коломне»), однако учитывает и свой собственный опыт — ироническую лирику 1832 года («Примите дивное посланье…», «Что толку жить! без приключений…», «Челнок») и, по всей видимости, опыт юнкерских поэм, сочиненных в стенах Школы гвардейских подпрапорщиков

и кавалерийских юнкеров для рукописного журнала «Школьная заря» (1834). Хотя многие исследователи вовсе отказывают этим обсценным (и, на современный взгляд, неприятно-токсичным) текстам в литературном значении, они сыграли свою роль в эволюции лермонтовского стиля и авторского пафоса. Именно в юнкерских поэмах («Уланше», «Петергофском празднике», «Гошпитале») Лермонтов едва ли не впервые обратился к описанию повседневного быта героев, взятых из современной и близкой ему жизни, и отказался от лирической интонации в пользу откровенной иронии и пародии. Генетическую связь иронических поэм Лермонтова с юнкерскими опытами лучше всего демонстрирует поэма «Монго» (имя героя — реальное прозвище родственника и приятеля Лермонтова Алексея Столыпина), датирующаяся 1836 годом, то есть временем после окончания юнкерской школы, но написанная в сходной манере, правда с чуть менее откровенной и менее концентрированной обсценикой. Двусмысленность сюжетных поворотов характерна и для гораздо более лирической и насыщенной литературными отсылками «нравственной повести» «Сашка», и даже для увидевшей свет при жизни Лермонтова «Там-

бовской казначейши», где муж готов поставить на карту жену, которую выигрывает счастливо влюбленный в нее улан.

Что Лермонтов заимствует у Байрона и Пушкина?

Если первые опыты Лермонтова в жанре поэмы напрямую вырастали из чтения сочинений Пушкина, Козлова, Жуковского, Баратынского, откуда юный поэт брал как сюжетные ходы и решения, так и язык описания, то начиная с 1830 года он обращается к оригинальным сочинениям Байрона, которые читал — в отличие от пушкинского поколения — в оригинале, а не во французском переводе.

При этом английский поэт интересовал начинающего автора не только с художественной точки зрения. Не меньшую роль, чем стихи Байрона, для Лермонтова играли его личность, соотнесение биографических обстоятельств с творчеством, преломление и выражение личных переживаний в поэтических текстах, образ автора и его биографические проекции. Как свидетельствуют воспоминания Екатерины Сушковой[7] и заметки самого Лермонтова, важнейшим источником его знакомства с произведениями и личностью Байрона стала книга Томаса Мура «Письма и

дневники лорда Байрона, с замечаниями из его жизни», вышедшая в 1830 году. В этой книге Мур приводил отрывки из дневников и писем Байрона, перемежая их поэтическими текстами и тесно связывая историю создания тех или иных произведений с биографией и переживаниями английского поэта. О таком биографическом прочтении и эмоциональном вживании в биографию Байрона говорят автобиографические записи лета 1830 года, которые Лермонтов начал делать по следам чтения книги Мура, — например, такие:

Когда я начал марать стихи в 1828 году, я как бы по инстинкту переписывал и прибирал их, они еще теперь у меня. Ныне я прочел в жизни Байрона, что он делал то же — это сходство меня поразило!

Еще сходство в жизни моей с лордом Байроном. Его матери в Шотландии предсказала старуха, что он будет великий человек и будет два раза женат; про меня на Кавказе предсказала то же самое старуха моей бабушке. Дай Бог, чтоб и надо мной сбылось; хотя б я был так же несчастлив, как Байрон6.

Цитаты из Байрона, разнообразные реминисценции из его произведений с тех пор регулярно

возникали как в лирике Лермонтова, так и в его поэмах 1830-х годов. Хотя в известном стихотворении 1832 года поэт утверждал: «Нет, я не Байрон, я другой…», байроновский фон оставался для Лермонтова чрезвычайно значимым. По автобиографической модели байроновского романтического субъекта молодой поэт выстраивал свой образ в разных жанрах. В поэмах эти аллюзии на Байрона и его тексты выражались прежде всего в предисловиях, посвящениях, эпиграфах, отвечающих за выражение авторской позиции. Так, эпиграфы к значительному числу поэм 1830-х годов Лермонтов берет из сочинений Байрона: в «Последнем сыне вольности» мы находим эпиграф из «Гяура», в «черкесской повести» «Каллы» эпиграф взят из «Абидосской невесты», источник эпиграфа к поэме «Моряк» — байроновский «Корсар», поэма «Измаил-бей» сопровождается эпиграфами из «Гяура» и «Лары», в поэме «Боярин Орша» — эпиграфы снова из «Гяура» и «Паризины», наконец, к одной из ранних редакций «Демона» Лермонтов выписывает эпиграф из знаменитой мистерии Байрона «Каин».

Этот насыщенный диалог с Байроном оставался, однако, фактом внутренней творческой эволюции Лермонтова, который при жизни не

напечатал ни одну из этих поэм. Тем не менее байроновский ореол стал важной частью его литературной репутации. Большую роль в этом сыграла поздняя поэма «Мцыри», опубликованная в единственном прижизненном поэтическом сборнике Лермонтова 1840 года. В «Мцыри», как и прежде в «Исповеди» и «Боярине Орше», он использовал повествовательную модель, восходящую к поэме Байрона «Шильонский узник» (1816): в центр поэмы помещается исповедальный монолог героя. Хотя к этому решению Байрон прибегал и в других поэмах, в «Шильонском узнике» принцип был реализован наиболее последовательно, основной текст поэмы начинался сразу же с прямой речи: «My hair is grey, but not with years…» Еще одна узнаваемая особенность «Шильонского узника» — метрика: четырехстопный ямб со сплошными мужскими окончаниями, канонизированный на русской почве переводом Жуковского (1822). Именно в такой перспективе — как «воспоминание о героях Байрона» и подражание стиховой форме Жуковского — поэма «Мцыри» была интерпретирована ранними критиками, например Шевырёвым и Белинским.



Степан Шевырёв{4}

Другая байроновская линия в творчестве Лермонтова была связана с ироикомическими, сатирическими поэмами Байрона, совсем не похожими на его полные драматизма «восточные повести» или «Шильонского узника» с его экспрессивной исповедальностью. Ироикомическая, или бурлескная, поэма нарочито смешивала высокий слог и низкий предмет (как, например, в «Войне мышей и лягушек» или «Похищенном ведре» Алессандро Тассони) или, наоборот, высокий предмет и низкий слог (как в «Энеиде наизнанку»[8]). Комические поэмы Байрона (уже называвшиеся «Беппо» и «Дон Жуан») были тем интереснее, что иронически обыгрывали романтические жанры и штампы, позволяя уйти от той нарочитой серьезности и прямой исповедальности, которая успела утвердиться в романтической поэзии. Ироикомическая поэма могла совмещать разные авторские интонации, вводить разные голоса «героев», делать многочисленные — серьезные и не очень — отступления от основного сюжета. Таким образом, сам жанр способствовал размыканию сюжетных и стилевых границ в рамках одного текста и выводил на первый план фигуру автора, который сам выбирал стилистический регистр для того или иного героя

и описания.

В русском литературном поле второй половины 1830-х годов ближайшим образцом такого использования байронической традиции были холодно принятые современниками поэмы Пушкина — «Граф Нулин» и «Домик в Коломне», а также, разумеется, роман в стихах «Евгений Онегин»7. Эта преемственность для Лермонтова была очевидна, о чем свидетельствует отрефлектированный выбор онегинской строфы для «Тамбовской казначейши»:

Пускай слыву я старовером,
Мне все равно — я даже рад:
Пишу Онегина размером;
Пою, друзья, на старый лад.

Замечательно при этом, что «онегинский размер» повлек за собой и множество реминисценций из романа в стихах и других пушкинских текстов: это и пародийное обыгрывание серьезной коллизии из финальной главы «Онегина», напоминающее о сюжете «Графа Нулина», и повторение — но без трагических последствий — любовного сюжета «Пиковой дамы». Объединяя байроновские и пушкинские реминисценции в «Тамбовской казначейше» (как и в не предназначенной для печати поэме «Сашка»), Лермонтов

закреплял в литературном поле ценность этой линии пушкинского творчества и этого типа романтической поэмы, во многом опережая современных ему критиков.

Как были опубликованы поэмы Лермонтова?

Как в случае с лирикой и драматургией Лермонтова, большая часть его поэм при жизни не публиковалась: напечатаны были только четыре поэмы. Можно предполагать, что многие свои ранние тексты Лермонтов и не предназначал для печати, воспринимая их как ученические сочинения или как рабочие черновики. Но эти опыты обладали для него внутренней творческой ценностью. Свои тетради и рукописи он хранил и, согласно воспоминаниям Акима Шан-Гирея, троюродного брата и близкого друга Лермонтова, перед последним отъездом на Кавказ в апреле 1841 года, они с ним «сделали подробный пересмотр всем бумагам, выбрали несколько как напечатанных уже, так и еще не изданных и составили связку»8, чтобы сохранить неопубликованные тексты и, может быть, впоследствии что-нибудь из них напечатать.

Вскоре после смерти поэта большой массив его юношеских рукописей, содержавших в том числе тексты многочисленных ранних поэм,

оказался в распоряжении Андрея Краевского — редактора журнала «Отечественные записки», издателя прижизненных книг Лермонтова и его хорошего знакомого. Именно Краевский в первой половине 1840-х годов все же опубликовал многие произведения юношеского периода и сумел провести в печать отрывки из «Демона». В течение 1841–1844 годов Краевский поместил в своем журнале несколько десятков новых текстов Лермонтова (среди которых признанные лирические шедевры, а также поэмы «Сказка для детей», «Боярин Орша», «Измаил-бей» и отрывки из «Демона»), которые составили существенную часть нового книжного издания — четырехчастных «Стихотворений М. Лермонтова» (1842–1844). Благодаря усилиям Краевского читатели, несмотря на гибель поэта, продолжали знакомиться с его сочинениями, причем в нарушенной хронологии (ранние поэмы они прочли позже зрелых), а в критике постоянно обсуждалась обоснованность и этичность решения Краевского предать печати юношеские произведения безвременно погибшего поэта.



Андрей Краевский{5}

Те же сюжеты становились предметом полемики и впоследствии, когда уже в конце 1850-х — начале 1860-х годов в печати стали появляться новые тексты из юношеских тетрадей Лермонтова: отрывки из поэм «Черкесы», «Кавказский пленник», «Корсар», «Два брата», «Джюлио», «Каллы», «Литвинка», «Аул Бастунджи». Они печатались в тех же «Отечественных записках» Краевского и затем в двухтомных «Сочинениях М. Лермонтова» (1860), подготовкой которых занимался литературный критик Степан Дудышкин. В более-менее полном виде корпус ранних поэм Лермонтова был зафиксирован в издании под редакцией Павла Висковатова (1889–1891), а отдельные находки — как рукописей, так и документов, связанных с историей текста поэм, — делались в течение всего XX века.

Из опубликованных при жизни Лермонтова поэм наиболее ранняя — «Хаджи Абрек» — появилась в 1835 году в популярном журнале «Библиотека для чтения» под полной фамилией автора (его первая подписанная публикация, правда в ином орфографическом варианте «Лермантов»), однако заметным литературным событием не стала. Иная судьба ждала вторую опубликованную Лермонтовым поэму — «Песню про… купца

Калашникова», напечатанную под криптонимом «-в» в «Литературных прибавлениях к “Русскому инвалиду”» (1838), изданием которых занимался в тот период Краевский. Как писал об этой публикации Белинский, наряду с Краевским способствовавший утверждению литературной славы Лермонтова, «это произведение сделало известным имя автора, хотя оно явилось и без подписи этого имени»9.

БИБЛІОТЕКА
ДЛЯ ЧТЕНІЯ,

ЖУРНАЛЪ

СЛОВЕСНОСТИ, НАУКЪ, ХУДОЖЕСТВЪ, ПРОМЫШЛЕННОСТИ, НОВОСТЕЙ и МОДЪ.



ТОМЪ ОДИННАДЦАТЫЙ.

ИЗДАНІЕ

книгопродавца Александра Смирдина

САНКТПЕТЕРБУРГЪ.

ВЪ ТИПОГРАФІИ ВДОВЫ ПЛЮШАРЪ СЪ СЫНОМЪ.

1835.

Титульный лист журнала «Библиотека для чтения» с первой публикацией «Хаджи Абрека»{6}

Криптонимная публикация «Песни…» была результатом цензурных сложностей, возникших, однако, не из-за претензий к содержанию поэмы, но из-за личности ее автора. За год до того, в феврале 1837 года, имя Лермонтова стало широко известно благодаря «возмутительным» стихам на смерть Пушкина (за их сочинение и распространение Лермонтов был арестован, провел несколько дней на гауптвахте и по повелению Николая I наказан переводом из гвардии в армейский полк тем же чином). Краевский вспоминал, что придирчивый петербургский цензор Павел Гаевский «нашел совершенно невозможным делом напечатать стихотворение человека, только что сосланного на Кавказ за свой либерализм». Краевскому пришлось прибегнуть к помощи Жуковского, «который был в великом восторге от стихотворения Лермонтова, находил, что его непременно надо печатать, и дал… письмо к министру народного просвещения. Уваров нашел, что цензор был прав в своих опасениях, но разрешил печатание на своей ответственности, не позволив, однако, ставить имени Лермонтова»10. Эти мемуарные сведения Краевского

подтверждаются цензурными документами, в свое время опубликованными Николаем Здобновым11: из них следует, что поэма не была одобрена ни самим цензором, ни петербургским цензурным комитетом, но была дозволена лишь «по разрешению… господина министра народного просвещения».

Цензурные злоключения «Песни», по всей видимости, повлияли и на издательскую судьбу другой поэмы Лермонтова, увидевшей свет в том же 1838 году, — «Тамбовской казначейши». Она была напечатана в журнале «Современник», который после смерти Пушкина выпускали его друзья — Жуковский, Вяземский, Плетнёв, Одоевский — при участии Краевского. Рукопись поэмы Лермонтов, уже вернувшийся с Кавказа в Петербург (по дороге в лейб-гвардии Гродненский гусарский полк, квартировавший в Новгороде), отдал Жуковскому, который, по словам Лермонтова в письме к Марии Лопухиной, поэму одобрил, «понес ее к Вяземскому, чтобы прочесть вместе»12, и предназначил в ближайший номер «Современника». Однако, как вспоминал все тот же Краевский, Жуковский «некоторые стихи переделал и дал им другое значение, а кое-что выпустил»13 — в том числе, по-видимому, имея в

виду потенциальные сложности с цензурой. Хотя архивные свидетельства о цензурных претензиях к «Тамбовской казначейше» до сих пор не были обнаружены, неавторские (и, скорее всего, именно цензурные) изъятия в поэме налицо — начиная с заглавия и обозначения места действия. В «Современнике» Тамбов обозначен как «Т…», а сама поэма носит название «Казначейша». В воспоминаниях Ивана Панаева, соредактора «Современника» уже в другую, некрасовскую эпоху, есть колоритный эпизод, хотя и неточный в деталях, но ярко рисующий впечатления автора от искаженного текста «Казначейши»:

Он [Лермонтов] держал тоненькую розовую книжечку «Современника» в руке и покушался было разодрать ее, но г. Краевский не допустил его до этого. — Это чорт знает что такое! позволительно ли делать такие вещи! — говорил Лермонтов, размахивая книжечкою… — Это ни на что не похоже! — Он подсел к столу, взял толстый красный карандаш и на обертке «Современника», где была напечатана его «Казначейша», набросал какую-то карикатуру14.

Рукописей поэмы не сохранилось, за исключением набросков посвящения, а потому в современных изданиях точно так же сохраняются

пропуски текста (кроме связанных с Тамбовом). Павел Висковатов, один из ранних исследователей и комментаторов сочинений Лермонтова, в своем издании восстанавливал часть купюр со ссылкой на сообщение родственника и друга Лермонтова Акима Шан-Гирея (например, в строке 27: «Там зданье лучшее острог» или в строке 467: «Увы! молясь иной святыне»)15, однако позднейшие текстологи справедливо не решались вносить дополнения в лермонтовский текст по такому недостоверному, «устному» источнику.



Александр Пушкин{7}

Вмешательства цензуры не избежала и последняя напечатанная при жизни Лермонтова поэма «Мцыри», вызвавшая нарекания со стороны вообще-то очень вдумчивого и либерального цензора Александра Никитенко. Его внимание

привлекли фрагменты, где герой-послушник высказывает неортодоксальные и в этом смысле дерзкие желания. Так, Никитенко, не сомневаясь, вычеркнул отрывок из 25-й главки, где Мцыри говорит о готовности променять «рай и вечность» на несколько минут возвращения на родину:

Но что мне в том? — пускай в раю,
В святом, заоблачном краю
Мой дух найдет себе приют…
Увы! — за несколько минут
Между крутых и темных скал,
Где я в ребячестве играл,
Я б рай и вечность променял.

Помимо этого, Никитенко представил на рассмотрение цензурного комитета еще один фрагмент (из 3-й главки) об одной, но пламенной страсти Мцыри, которая звала его мечты «От келий душных и молитв / В тот чудный мир тревог и битв, / Где в тучах прячутся скалы, / Где люди вольны, как орлы». Цензурный комитет последний фрагмент признал позволительным к печати16. А на запрещение первого отрывка, конечно, более сомнительного с религиозной точки зрения, по всей видимости, повлиял и предыдущий цензорский опыт Никитенко. За несколько лет до цензурования «Мцыри» он пропустил в

печать стихотворение Виктора Гюго «Красавице» в переводе Михаила Деларю, построенное на той же метафоре обмена небесного на земное («Я отдал бы прохладу райских струй <…> За твой единый поцелуй!») — и был за этот кощунственный недосмотр посажен на гауптвахту.

Сходные проблемы со светской и духовной цензурой, разумеется, ожидали и другую позднюю поэму Лермонтова — знаменитого «Демона», — которую он тоже хотел провести в печать. Как в свое время указал Вацуро17, «Демону» удалось получить цензурное разрешение в марте 1839 года, вскоре после того, как одна из редакций поэмы была представлена при дворе и прочтена императрице Александре Федоровне, жене Николая I. Однако, несмотря на цензурное разрешение, Лермонтов поэму так и не опубликовал — может быть, потому, что цензура потребовала значительных изъятий, а может быть, потому, что с лета 1839 года сочинения, так или иначе касавшиеся духовной сферы, должны были представляться и в духовную цензуру. При повторном представлении отпечатанного текста в цензурный комитет «Демон» практически наверняка был бы послан на рассмотрение духовной цензуры и вряд ли мог быть ею одобрен. Разрешения

напечатать отрывки из «Демона» смог добиться уже после смерти Лермонтова Краевский, но тоже далеко не сразу.

Как поэмы Лермонтова были приняты современниками?

Специфика публикационной истории произведений Лермонтова, в том числе его поэм, наложила неизбежный отпечаток на его раннюю литературную репутацию. В центре внимания критиков начала 1840-х годов оказались преимущественно две поэмы, включенные в сборник «Стихотворения М. Лермонтова», — «Песня… про купца Калашникова» и «Мцыри», причем первая вызывала гораздо более восторженную реакцию, чем вторая. Проникнутая фольклоризмом, «народностью», историзмом и национальным духом, «Песня» казалась гораздо более оригинальным, самобытным сочинением, чем отчетливо байроническая поэма «Мцыри». Как резюмировал эти впечатления критик барон Розен, «эти чисто русские и древнерусские звуки производят самый приятный эффект посреди европейских мелодий бейронизма»18.



Михаил Врубель. Демон сидящий{8}

Собственно стилизация, ориентация на фольклорные жанры и исторические песни (несомненный источник «Песни» Лермонтова — известный сборник «Древние российские стихотворения, собранные Киршею Даниловым», выходивший двумя изданиями — в 1804 и 1818 году) критиков не смущали. Напротив, в «мастерском», то есть допускающем литературную обработку, подражании «эпическому стилю русских песен» видел несомненное достоинство поэмы строгий к Лермонтову Шевырёв: «это… не подделка, не рабское подражание, — <…> это создание в духе и стиле наших древних эпических песен»19. Более проницательный по отношению к лермонтовской поэтике Белинский увидел в «Песне» не только

выражение «русского духа», но и духа самого поэта, «недовольного современною действительностию и перенесшегося от нее в далекое прошедшее, чтоб там искать жизни, которой он не видит в настоящем»20. Белинский также отметил важный для лермонтовского творчества романтический мотив противопоставления настоящего и прошлого — причем прошлому Лермонтов явно отдавал предпочтение, как и в стихотворениях «Бородино» («Да, были люди в наше время, / Не то, что нынешнее племя: / Богатыри — не вы!)» и «Дума» («Печально я гляжу на наше поколенье…»).



Виссарион Белинский{9}

Сходные эстетические принципы в полной мере проявились и в оценках «Мцыри». Критикам

старшего поколения, романтикам, отвергающим подражание в форме и выражениях, но помнящим «классические» риторические правила, поэма казалась вторичной и неудачно построенной — «воспоминание о героях Байрона», форма, «верно снятая с “Шильонского узника” Жуковского» (Шевырёв), «совершенная неопытность в искусстве! Для чего было так ужасно растянуть рассказ» (барон Розен)21. Белинский же, напротив, увидел в «Мцыри» квинтэссенцию лермонтовской субъективности, яркое воплощение романтической экспрессивности, связующей творение и творца: «Что за огненная душа, что за могучий дух, что за исполинская натура у этого мцыри! Это любимый идеал нашего поэта, это отражение в поэзии тени его собственной личности. Во всем, что ни говорит мцыри, веет его собственным духом, поражает его собственною мощью»22. Такой подход к чтению поэтических текстов, в которых критик видел прежде всего воплощение души автора, позволял Белинскому сочувственно интерпретировать и другие, более ранние поэмы и драмы Лермонтова, когда они стали доступны ему в рукописях или начали печататься. В письмах к Василию Боткину[9] 1841–1842 годов Белинский хвалит и «Боярина

Оршу», и «Демона», и «Маскарад»: «Всё это детски, но страшно — сильно и взмашисто. Львиная натура! Страшный и могучий дух!»23 — и это сильно контрастирует с теми оценками, которые дают ранним поэмам, например, в «Библиотеке для чтения» или «Москвитянине».

Парадоксальную судьбу обрел в восприятии современников и лермонтовский «Демон». Интерес к этому тексту возник еще при жизни поэта, затем был усилен цензурными запретами полного текста при дозволенной публикации отрывков и хождении поэмы в списках.

О читательском внимании к «Демону» говорит и множество заграничных изданий полного текста поэмы, после того как в 1856 году в Карлсруэ — в минимальном числе экземпляров — вышла первая публикация. О важности «Демона» как для собственно лермонтовского творчества, так и для истории русской поэзии говорит и любопытный факт — включение отрывков из этой неортодоксальной поэмы в школьное чтение. Уже в 1843 году, спустя год после первой публикации отрывков из поэмы, критик и педагог Алексей Галахов включил несколько фрагментов из «Демона» в свою знаменитую хрестоматию24 — и, несмотря на острую критику (в первую очередь в статьях

Шевырёва), «Демон» закрепился в дореволюционном школьном каноне — наряду с «Мцыри» и «Песней… про купца Калашникова». Тот же набор «канонических» произведений Лермонтова сохраняется до сих пор, при всем многообразии и разноплановости лермонтовской работы с жанром романтической поэмы. Хочется надеяться — вместе с читателями этого сборника — на выход за границы канона.



Черкесы

Подобно племени Батыя,
Изменит прадедам Кавказ:
Забудет брани вещий глас,
Оставит стрелы боевые…
…И к тем скалам, где крылись вы,
Подъедет путник без боязни,
И возвестят о вашей казни
Преданья темные молвы!..
А. Пушкин

I
Уж в горах солнце исчезает,
В долинах всюду мертвый сон,
Заря, блистая, угасает,
Вдали гудит протяжный звон,
Покрыто мглой туманно поле,
Зарница блещет в небесах,
В долинах стад не видно боле,
Лишь серны скачут на холмах.
И серый волк бежит чрез горы;
Его свирепо блещут взоры.
В тени развесистых дубов
Влезает он в свою берлогу.
За ним бежит через дорогу
С ружьем охотник, пара псов
На сворах рвутся с нетерпенья;
Все тихо; и в глуши лесов
Не слышно жалобного пенья
Пустынной иволги; лишь там
Весенний ветерок играет,
Перелетая по кустам;
В глуши кукушка занывает;
И на дупле как тень сидит
Полночный ворон и кричит.
Меж диких скал крутит, сверкает
Подале Терек за горой;

Высокий берег подмывает,
Крутяся, пеною седой.

II
Одето небо черной мглою,
В тумане месяц чуть блестит;
Лишь на сухих скалах травою
Полночный ветер шевелит.
На холмах маяки блистают;
Там стражи русские стоят;
Их копья острые блестят;
Друг друга громко окликают:
«Не спи, казак, во тьме ночной;
Чеченцы ходят за рекой!»
Но вот они стрелу пускают,
Взвилась! — и падает казак
С окровавленного кургана;
В очах его смертельный мрак:
Ему не зреть родного Дона,
Ни милых сердцу, ни семью:
Он жизнь окончил здесь свою.

III
В густом лесу видна поляна,
Чуть освещенная луной,
Мелькают, будто из тумана,
Огни на крепости большой.

Вдруг слышен шорох за кустами,
Въезжают несколько людей;
Обкинув все кругом очами,
Они слезают с лошадей.
На каждом шашка, за плечами
Ружье заряжено висит,
Два пистолета, борзы кони;
По бурке на седле лежит.
Огонь черкесы зажигают,
И все садятся тут кругом;
Привязанные к деревам
В лесу кони траву щипают,
Клубится дым, огонь трещит,
Кругом поляна вся блестит.

IV

Один черкес одет в кольчугу,
Из серебра его наряд,
Уздени вкруг него сидят;
Другие ж все лежат по лугу.
Иные чистят шашки остры
Иль навостряют стрелы быстры.
Кругом все тихо, все молчит.
Восстал вдруг князь и говорит:
«Черкесы, мой народ военный,
Готовы будьте всякий час,
На жертву смерти — смерти славной

Не всяк достоин здесь из вас.
Взгляните: в крепости высокой
В цепях, в тюрьме, мой брат сидит,
В печали, в скорби, одинокой,
Его спасу иль мне не жить.

V

Вчера я спал под хладной мглой
И вдруг увидел будто брата,
Что он стоял передо мной —
И мне сказал: «Минуты трата,
И я погиб, — спаси меня»;
Но призрак легкий вдруг сокрылся;
С сырой земли поднялся я;
Его спасти я устремился;
И вот ищу и ночь и день;
И призрак легкий не являлся
С тех пор, как брата бледна тень
Меня звала, и я старался
Его избавить от оков;
И я на смерть всегда готов!
Теперь, клянуся Магометом,
Клянусь, клянуся целым светом!..
Настал неизбежимый час,
Для русских смерть или мученье
Иль мне взглянуть в последний раз
На ярко солнце восхожденье».

Умолкнул князь. И все трикратно
Повторили его слова:
«Погибнуть русским невозвратно
Иль с тела свалится глава».

VI

Восток, алея, пламенеет,
И день заботливый светлеет.
Уже в селах кричит петух;
Уж месяц в облаке потух.
Денница, тихо поднимаясь,
Златит холмы и тихий бор;
И юный луч, со тьмой сражаясь,
Вдруг показался из-за гор.
Колосья в поле под серпами
Ложатся желтыми рядами.
Все утром дышит; ветерок
Играет в Тереке на волнах,
Вздымает зыблемый песок.
Свод неба синий тих и чист;
Прохлада с речки повевает,
Прелестный запах юный лист
С весенней свежестью сливает.
Везде, кругом сгустился лес,
Повсюду тихое молчанье;
Струей, сквозь темный свод древес
Прокравшись, дневное сиянье

Верхи и корни золотит.
Лишь ветра тихим дуновеньем
Сорван листок летит, блестит,
Смущая тишину паденьем.
Но вот, приметя свет дневной,
Черкесы на коней садятся,
Быстрее стрел по лесу мчатся,
Как пчел неутомимый рой,
Сокрылися в тени густой.

VII

О, если б ты, прекрасный день,
Гнал так же горесть, страх, смятенья,
Как гонишь ты ночную тень
И снов обманчивых виденья!
Заутрень в граде дальний звон
По роще ветром разнесен;
И на горе стоит высокой
Прекрасный град, там слышен громкий
Стук барабанов, и войска,
Закинув ружья на плеча,
Стоят на площади. И в параде
Народ весь в праздничном наряде
Идет из церкви. Стук карет,
Колясок, дрожек раздается;
На небе стая галок вьется;
Всяк в дом свой завтракать идет;

Там тихо ставни растворяют;
Там по улице гуляют
Иль идут войско посмотреть
В большую крепость. Но чернеть
Уж стали тучи за горами,
И только яркими лучами
Блистало солнце с высоты;
И ветр бежал через кусты.

VIII

Уж войско хочет расходиться
В большую крепость на горе;
Но топот слышен в тишине.
Вдали густая пыль клубится.
И видят, кто-то на коне
С оглядкой боязливой мчится.
Но вот он здесь уж, вот слезает;
К начальнику он подбегает
И говорит: «Погибель нам!
Вели готовиться войскам;
Черкесы мчатся за горами,
Нас было двое, и за нами
Они пустились на конях.
Меня объял внезапный страх;
Насилу я от них умчался;
Да конь хорош, а то б попался».

IX
Начальник всем полкам велел
Сбираться к бою, зазвенел
Набатный колокол; толпятся,
Мятутся, строятся, делятся;
Вороты крепости сперлись.
Иные вихрем понеслись
Остановить черкесску силу
Иль с славою вкусить могилу.
И видно зарево кругом;
Черкесы поле покрывают;
Ряды, как львы, перебегают;
Со звоном сшибся меч с мечом;
И разом храброго не стало.
Ядро во мраке прожужжало,
И целый ряд бесстрашных пал;
Но все смешались в дыме черном.
Здесь бурный конь с копьем вонзенным,
Вскочивши на дыбы, заржал,
Сквозь русские ряды несется,
Упал на землю, сильно рвется,
Покрывши всадника собой,
Повсюду слышен стон и вой.

X
Пушек гром везде грохочет;
А здесь изрубленный герой

Воззвать к дружине верной хочет;
И голос замер на устах.
Другой бежит на поле ратном;
Бежит, глотая пыль и прах;
Трикрат сверкнул мечом булатным,
И в воздухе недвижим меч;
Звеня, падет кольчуга с плеч;
Копье рамена прободает,
И хлещет кровь из них рекой.
Несчастный раны зажимает
Холодной, трепетной рукой.
Еще ружье свое он ищет;
Повсюду стук, и пули свищут;
Повсюду слышен пушек вой;
Повсюду смерть и ужас мещет
В горах, и в долах, и в лесах;
Во граде жители трепещут;
И гул несется в небесах.
Иный черкеса поражает;
Бесплодно меч его сверкает.
Махнул еще; его рука,
Подъята вверх, окостенела.
Бежать хотел. Его нога
Дрожит недвижима, замлела;
Встает и пал. Но вот несется
На лошади черкес лихой

Сквозь ряд штыков; он сильно рвется
И держит меч над головой;
Он с казаком вступает в бой;
Их сабли остры ярко блещут;
Уж лук звенит, стрела трепещет;
Удар несется роковой.
Стрела блестит, свистит, мелькает
И вмиг казака убивает.
Но вдруг, толпою окружен,
Копьями острыми пронзен,
Князь сам от раны издыхает;
Падет с коня — и все бегут
И бранно поле оставляют.
Лишь ядры русские ревут
Над их, ужасно, головой.
Помалу тихнет шумный бой.
Лишь под горами пыль клубится.
Черкесы побежденны мчатся,
Преследоваемы толпой
Сынов неустрашимых Дона,
Которых Рейн, Лоар и Рона
Видали на своих брегах,
Несут за ними смерть и страх.

XI

Утихло все: лишь изредкà
Услышишь выстрел за горою;

Редко видно казака,
Несущегося прямо к бою,
И в стане русском уж покой.
Спасен и град, и над рекой
Маяк блестит, и сторож бродит,
В окружность быстрым оком смотрит
И на плече ружье несет.
Лишь только слышно: «*Кто идет*»,
Лишь громко «*слушай*» раздается;
Лишь только редко пронесется
Лихой казак чрез русский стан.
Лишь редко крикнет черный вран
Голодный, трупы пожирая;
Лишь изредка мелькнет, блистая,
Огонь в палатке у солдат.
И редко чуть блеснет булат,
Заржавый от крови в сраженье,
Иль крикнет вдруг в уединенье
Близ стана русский часовой;
Везде господствует покой.



Кавказский пленник

Genieße und leide!
Dulde und entbehre!
Liebe, hoff' und glaube!
Conz[10]

Часть первая

I

В большом ауле, под горою,
Близ саклей дымных и простых,
Черкесы позднею порою
Сидят — о конях удалых
Заводят речь, о метких стрелах,
О разоренных ими селах;
И с ними как дрался казак,
И как на русских нападали,
Как их пленили, побеждали.
Курят беспечно свой табак,
И дым, виясь, летит над ними,
Иль, стукнув шашками своими,
Песнь горцев громко запоют.
Иные на коней садятся,
Но перед тем как расставаться,
Друг другу руку подают.

II

Меж тем черкешенки младые
Взбегают на горы крутые
И в темну даль глядят — но пыль
Лежит спокойно по дороге;
И не шелохнется ковыль,
Не слышно шума, ни тревоги.

Там Терек издали кружит,
Меж скал пустынных протекает
И пеной зыбкой орошает
Высокий берег; лес молчит;
Лишь изредка олень пугливый
Через пустыню пробежит;
Или коней табун игривый
Молчанье дола возмутит.

III
Лежал ковер цветов узорный
По той горе и по холмам;
Внизу сверкал поток нагорный
И тек струисто по кремням…
Черкешенки к нему сбежались,
Водою чистой умывались.
Со смехом младости простым
На дно прозрачное иные
Бросали кольца дорогие;
И к волосам своим густым
Цветы весенние вплетали;
Гляделися в зерцало вод,
И лица их в нем трепетали.
Сплетаясь в тихий хоровод,
Восточны песни напевали;
И близ аула под горой
Сидели резвою толпой;

И звуки песни произвольной
Ущелья вторили невольно.

IV

Последний солнца луч златой
На льдах сребристых догорает,
И Эльборус своей главой
Его, как туча, закрывает.
Уж раздалось мычанье стад
И ржанье табунов веселых;
Они с полей идут назад…
Но что за звук цепей тяжелых?
Зачем печаль сих пастухов?
Увы! то пленники младые,
Утратив годы золотые,
В пустыне гор, в глуши лесов,
Близ Терека пасут уныло
Черкесов тучные стада,
Воспоминая то, что было
И что не будет никогда!
Как счастье тщетно их ласкало,
Как оставляло наконец
И как оно мечтою стало!..
И нет к ним жалостных сердец!
Они в цепях, они рабами!
Сливалось все как в мутном сне,
Души не чувствуя, оне

Уж видят гроб перед очами.
Несчастные! в чужом краю!
Исчезли сердца упованья;
В одних слезах, в одном страданье
Отраду зрят они свою.

V

Надежды нет им возвратиться;
Но сердце поневоле мчится
В родимый край. Они душой
Тонули в думе роковой.
Но пыль взвивалась над холмами
От стад и борзых табунов;
Они усталыми шагами
Идут домой. Лай верных псов
Не раздавался вкруг аула;
Природа шумная уснула;
Лишь слышен дев издалека
Напев унылый. Вторят горы,
И нежен он, как птичек хоры,
Как шум приветный ручейка:

Песня

1

Как сильной грозою
Сосну вдруг согнет;
Пронзенный стрелою,

Как лев заревет;
Так русский средь бою
Пред нашим падет;
И смелой рукою
Чеченец возьмет
Броню золотую
И саблю стальную
И в горы уйдет.

2

Ни конь, оживленный
Военной трубой,
Ни варвар, смятенный
Внезапной борьбой,
Страшней не трепещет,
Когда вдруг заблещет
Кинжал роковой.
Внимали пленники уныло
Печальной песни сей для них.
И сердце в грусти страшно ныло…
Ведут черкесы к сакле их;
И, привязавши у забора,
Ушли. Меж них огонь трещит;
Но не смыкает сон их взора,
Не могут горесть дня забыть.

VI

Льет месяц томное сиянье.
Черкесы храбрые не спят;
У них шумливое собранье:
На русских нападать хотят.
Вокруг оседланные кони;
Серебряные блещут брони;
На каждом лук, кинжал, колчан
И шашка на ремнях наборных,
Два пистолета и аркан,
Ружье; и в бурках, в шапках черных,
К набегу стар и млад готов,
И слышен топот табунов.
Вдруг пыль взвилася над горами,
И слышен стук издалека;
Черкесы смотрят: меж кустами
Гирея видно, ездока!

VII
Он понуждал рукой могучей
Коня, приталкивал ногой,
И влек за ним аркан летучий
Младого пленника <с> собой.
Гирей приближился — веревкой
Был связан русский, чуть живой.
Черкес спрыгнул, рукою ловкой
Разрезывал канат; но он
Лежал на камне — смертный сон

Летал над юной головою…
Черкесы скачут уж — как раз
Сокрылись за горой крутою;
Уроком бьет полночный час.

VIII
От смерти лишь из сожаленья
Младого русского спасли;
Его к товарищам снесли.
Забывши про свои мученья,
Они, не отступая прочь,
Сидели близ него всю ночь…
И бледный лик, в крови омытый,
Горел в щеках — он чуть дышал,
И смертным холодом облитый,
Протягшись, на траве лежал.

IX
Уж полдень, прямо над аулом,
На светло-синей высоте,
Сиял в обычной красоте.
Сливалися с протяжным гулом
Стадов черкесских — по холмам
Дыханье ветерков проворных,
И ропот ручейков нагорных,
И пенье птичек по кустам.
Хребта Кавказского вершины

Пронзали синеву небес,
И оперял дремучий лес
Его зубчатые стремнины.
Обложен степенями гор,
Расцвел узорчатый ковер;
Там под столетними дубами,
В тени, окованный цепями,
Лежал наш пленник на траве.
В слезах склонясь к младой главе,
Товарищи его несчастья
Водой старались оживить;
(Но ах! утраченного счастья
Никто не мог уж возвратить.)
Вот он, вздохнувши, приподнялся,
И взор его уж открывался!
Вот он взглянул!.. затрепетал.
…Он с незабытыми друзьями! —
Он, вспыхнув, загремел цепями…
Ужасный звук все, все сказал!!
Несчастный залился слезами,
На грудь к товарищам упал,
И горько плакал и рыдал.

X

Счастлив еще: его мученья
Друзья готовы разделять
И вместе плакать и страдать…

Но кто сего уж утешенья
Лишен в сей жизни слез и бед,
Кто в цвете юных пылких лет
Лишен того, чем сердце льстило,
Чем счастье издали манило…
И если годы унесли
Пору цветов искать, как прежде,
Минутной радости в надежде, —
Пусть не живет тот на земли.

XI

Так пленник мой с родной страною
Почти навек «прости» сказал!
Терзался прошлою мечтою,
Ее места воспоминал:
Где он провел златую младость,
Где испытал и жизни сладость,
Где много милого любил,
Где знал веселье и страданья,
Где он, несчастный, погубил
Святые сердца упованья…

XII

Он слышал слово «*навсегда!*».
И обреченный тяжкой долей,
Почти дружился он с неволей.
С товарищами иногда

Он пас черкесские стада,
Глядел он с ними, как лавины
Катятся с гор и как шумят;
Как лавой снежною блестят,
Как ими кроются долины;
Хотя цепями скован был,
Но часто к Тереку ходил.
И слушал он, как волны воют,
Подошвы скал угрюмых роют,
Текут средь дебрей и лесов…
Смотрел, как в высоте холмов
Блестят огни сторожевые
И как вокруг них казаки
Глядят на мутный ток реки,
Склонясь на копья боевые.
Ах! как желал бы там он быть;
Но цепь мешала переплыть.

XIII

Когда же полдень над главою
Горел в лучах, то пленник мой
Сидел в пещере, где от зною
Он мог сокрыться. Под горой
Ходили табуны. Лежали
В тени другие пастухи,
В кустах, в траве и близ реки,
В которой жажду утоляли…

И там-то пленник мой глядит:
Как иногда орел летит,
По ветру крылья простирает,
И видя жертвы меж кустов,
Когтьми хватает вдруг, — и вновь
Их с криком кверху поднимает…
«Так! — думал он, — я жертва та,
Котора в пищу им взята».

XIV

Смотрел он также, как кустами
Иль синей степью, по горам,
Сайгаки, с быстрыми ногами,
По камням острым, по кремням,
Летят, стремнины презирая…
Иль как олень и лань младая,
Услыша пенье птиц в кустах,
Со скал, не шевелясь, внимают —
И вдруг внезапно исчезают,
Взвивая вверх песок и прах.

XV

Смотрел, как горцы мчатся к бою
Иль скачут смело над рекою;
Остановились, — лошадей
Толкают смелою ногою…
И вдруг, припав к луке своей,

Близ берегов они мелькают,
Стремят — и снова поскакав,
С утеса падают стремглав
И…
…шумно в брызгах исчезают —
Потом плывут, и достигают
Уже противных берегов,
Они уж там и в тьме лесов
Себя от казаков скрывают…
Куда глядите, казаки?
Смотрите, волны у реки
Седою пеной забелели!
Смотрите, враны на дубах
Вострепенулись, улетели,
Сокрылись с криком на холмах!
Черкесы путника арканом
В свои ущелья завлекут…
И, скрытые ночным туманом,
Оковы, смерть вам нанесут.

XVI

И часто, отгоняя сон,
В глухую полночь смотрит он,
Как иногда черкес чрез Терек
Плывет на верном тулуке,
Бушуют волны на реке,
В тумане виден дальний берег,

На пне пред ним висят кругом
Его оружия стальные:
Колчан, лук, стрелы боевые;
И шашка острая, ремнем
Привязана, звенит на нем,
Как точка в волнах он мелькает,
То виден вдруг, то исчезает…
Вот он причалил к берегам.
Беда беспечным казакам!
Не зреть уж им родного Дона,
Не слышать колоколов звона!
Уже чеченец под горой,
Железная кольчуга блещет;
Уж лук звенит, стрела трепещет
Удар несется роковой!..
Казак! казак! увы, несчастный!
Зачем злодей тебя убил?
Зачем же твой свинец опасный
Его так быстро не сразил?..

XVII

Так пленник бедный мой уныло,
Хоть сам под бременем оков,
Смотрел на гибель казаков.
Когда ж полночное светило
Восходит, близ забора он
Лежит в ауле — тихий сон

Лишь редко очи закрывает.
С товарищами — вспоминает
О милой той родной стране;
Грустит; но больше, чем оне…
Оставив там залог прелестный,
Свободу, счастье, что любил,
Пустился он в край неизвестный,
И… все в краю том погубил.

Часть вторая

XVIII

Однажды, погружась в мечтанье,
Сидел он позднею порой;
На темном своде без сиянья
Бесцветный месяц молодой
Стоял, и луч дрожащий, бледный
Лежал на зелени холмов,
И тени шаткие дерев,
Как призраки, на крыше бедной
Черкесской сакли прилегли.
В ней огонек уже зажгли,
Краснея, он, в лампаде медной,
Чуть освещал большой забор…
Все спит: холмы, река и бор.

XIX

Но кто в ночной тени мелькает?
Кто легкой тенью меж кустов
Подходит ближе, чуть ступает,
Все ближе… ближе… через ров
Идет бредучею стопою?..
Вдруг видит он перед собою:
С улыбкой жалости немой
Стоит черкешенка младая!
Дает заботливой рукой

Хлеб и кумыс прохладный свой,
Пред ним колена преклоняя.
И взор ее изобразил
Души порыв, как бы смятенной.
Но пищу принял русский пленный
И знаком ей благодарил.

XX

И долго, долго, как немая,
Стояла дева молодая.
И взгляд как будто говорил:
«Утешь себя, невольник милый;
Еще не все ты погубил».
И вздох нетяжкий, но унылый
В груди раздался молодой;
Потом чрез вал она крутой
Домой пошла тропою мшистой
И скрылась вдруг в дали тенистой,
Как некий призрак гробовой.
И только девы покрывало
Еще очам вдали мелькало,
И долго, долго пленник мой
Смотрел ей вслед — она сокрылась.
Подумал он: но почему
Она к несчастью моему
С такою жалостью склонилась —
Он ночь всю не смыкал очей;

Уснул за час лишь пред зарей.

XXI

Четверту ночь к нему ходила
Она и пищу приносила;
Но пленник часто все молчал,
Словам печальным не внимал;
Ах! сердце, полное волнений,
Чуждалось новых впечатлений;
Он не хотел ее любить.
И что за радости в чужбине,
В его плену, в его судьбине?
Не мог он прежнее забыть…
Хотел он благодарным быть,
Но сердце жаркое терялось
В его страдании немом
И, как в тумане зыбком, в нем
Без отголоска поглощалось!..
Оно и в шуме, и в тиши
Тревожит сон его души.

XXII

Всегда он с думою унылой
В ее блистающих очах
Встречает образ вечно милый.
В ее приветливых речах
Знакомые он слышит звуки…

И к призраку стремятся руки;
Он вспомнил все — ее зовет…
Но вдруг очнулся. Ах! несчастный,
В какой он бездне здесь ужасной;
Уж жизнь его не расцветет.
Он гаснет, гаснет, увядает,
Как цвет прекрасный на заре;
Как пламень юный, потухает
На освященном алтаре!!!

XXIII
Не понял он ее стремленья,
Ее печали и волненья;
Не думал он, чтобы она
Из жалости одной пришла,
Взглянувши на его мученья;
Не думал также, чтоб любовь
Точила сердце в ней и кровь;
И в страшном был недоуменье…
Но в эту ночь ее он ждал…
Настала ночь уж роковая;
И сон от очей отгоняя,
В пещере пленник мой лежал.

XXIV
Поднялся ветер той порою,
Качал во мраке дерева,

И свист его подобен вою —
Как воет полночью сова.
Сквозь листья дождик пробирался;
Вдали на тучах гром катался;
Блистая, молния струей
Пещеру темну озаряла,
Где пленник бедный мой лежал,
Он весь промок и весь дрожал…
Гроза помалу утихала;
Лишь капала вода с дерев;
Кой-где потоки меж холмов
Струею мутною бежали
И в Терек с брызгами впадали.
Черкесов в темном поле нет…
И тучи врозь уж разбегают,
И кой-где звездочки мелькают;
Проглянет скоро лунный свет.

XXV

И вот над ним луна златая
На легком облаке всплыла;
И в верх небесного стекла,
По сводам голубым играя,
Блестящий шар свой провела.
Покрылись пеленой сребристой
Холмы, леса и луг с рекой.
Но кто печальною стопой

Идет один тропой гористой?
Она… с кинжалом и пилой;
Зачем же ей кинжал булатный?
Ужель идет на подвиг ратный!
Ужель идет на тайный бой!..
Ах, нет! наполнена волнений,
Печальных дум и размышлений,
К пещере подошла она;
И голос раздался известный;
Очнулся пленник как от сна,
И в глубине пещеры тесной
Садятся… долго они там
Не смели воли дать словам…
Вдруг дева шагом осторожным
К нему, вздохнувши, подошла;
И, руку взяв, с приветом нежным,
С горячим чувством, но мятежным,
Слова печальны начала:

XXVI

«Ах русский! русский! что с тобою!
Почто ты с жалостью немою,
Печален, хладен, молчалив,
На мой отчаянный призыв…
Еще имеешь в свете друга —
Еще не все ты потерял…
Готова я часы досуга

С тобой делить. Но ты сказал,
Что любишь, русский, ты другую.
Ее бежит за мною тень,
И вот об чем, и ночь и день,
Я плачу, вот об чем тоскую!..
Забудь ее, готова я
С тобой бежать на край вселенной!
Забудь ее, люби меня,
Твоей подругой неизменной…»
Но пленник сердца своего
Не мог открыть в тоске глубокой,
И слезы девы черноокой
Души не трогали его…
«Так, русский, ты спасен! но прежде
Скажи мне: жить иль умереть?!!
Скажи, забыть ли о надежде?..
Иль слезы эти утереть?»

XXVII

Тут вдруг поднялся он; блеснули
Его прелестные глаза,
И слезы крупные мелькнули
На них, как светлая роса:
«Ах нет! оставь восторг свой нежный,
Спасти меня не льстись надеждой;
Мне будет гробом эта степь;
Не на остатках, славных, бранных,

Но на костях моих изгнанных
Заржавит тягостная цепь!»
Он замолчал, она рыдала;
Но ободрилась, тихо встала,
Взяла пилу одной рукой,
Кинжал другою подавала.
И вот, под острою пилой
Скрыпит железо; распадает,
Блистая, цепь и чуть звенит.
Она его приподымает;
И так, рыдая, говорит:

XXVIII

«Да!.. пленник… ты меня забудешь…
Прости!.. прости же… *навсегда*;
Прости! *навек*!.. Как счастлив будешь,
Ах!.. вспомни обо мне тогда…
Тогда!.. быть может, уж могилой
Желанной скрыта буду я;
Быть может… скажешь ты уныло:
Она любила и меня!..»
И девы бледные ланиты,
Почти потухшие глаза,
Смущенный лик, тоской убитый,
Не освежит одна слеза!..
И только рвутся вопли муки…
Она берет его за руки

И в поле темное спешит,
Где чрез утесы путь лежит.

XXIX

Идут, идут; остановились,
Вздохнув, назад оборотились;
Но роковой ударил час…
Раздался выстрел — и как раз
Мой пленник падает. Не муку,
Но смерть изображает взор;
Кладет на сердце тихо руку…
Так медленно по скату гор,
На солнце искрами блистая,
Спадает глыба снеговая.
Как вместе с ним поражена,
Без чувства падает она;
Как будто пуля роковая
Одним ударом, в один миг,
Обеих вдруг сразила их.

XXX

Но очи русского смыкает
Уж смерть холодною рукой;
Он вздох последний испускает,
И он уж там — и кровь рекой
Застыла в жилах охладевших;
В его руках оцепеневших

Еще кинжал, блестя, лежит;
В его всех чувствах онемевших
Навеки жизнь уж не горит,
Навеки радость не блестит.

XXXI
Меж тем черкес, с улыбкой злобной,
Выходит из глуши дерев.
И, волку хищному подобный,
Бросает взор… стоит… без слов,
Ногою гордой попирает
Убитого… увидел он,
Что тщетно потерял патрон;
И вновь чрез горы убегает.

XXXII
Но вот она очнулась вдруг;
И ищет пленника очами.
Черкешенка! где, где твой друг…
Его уж нет.
Она слезами
Не может ужас выражать,
Не может крови омывать.
И взор ее как бы безумный
Порыв любви изобразил;
Она страдала. Ветер шумный,
Свистя, покров ее клубил!..

Встает… и скорыми шагами
Пошла с потупленной главой,
Через поляну — за холмами
Сокрылась вдруг в тени ночной.

XXXIII
Она уж к Тереку подходит;
Увы, зачем, зачем она
Так робко взором вкруг обводит,
Ужасной грустию полна?..
И долго на бегущи волны
Она глядит. И взор безмолвный
Блестит звездой в полночной тьме.
Она на каменной скале:
«О, русский! русский!!!» — восклицает.
Плеснули волны при луне,
Об берег брызнули оне!..
И дева с шумом исчезает.
Покров лишь белый выплывает,
Несется по глухим волнам:
Остаток грустный и печальный
Плывет, как саван погребальный,
И скрылся к каменным скалам.

XXXIV
Но кто убийца их жестокой?
Он был с седою бородой;

Не видя девы черноокой,
Сокрылся он в глуши лесной.
Увы! то был отец несчастный!
Быть может, он ее сгубил;
И тот свинец его опасный
Дочь вместе с пленником убил?
Не знает он, она сокрылась,
И с ночи той уж не явилась.
Черкес! где дочь твоя? глядишь,
Но уж ее не возвратишь!!.

XXXV

Поутру труп оледенелый
Нашли на пенистых брегах.
Он хладен был, окостенелый;
Казалось, на ее устах
Остался голос прежней муки;
Казалось, жалостные звуки
Еще не смолкли на губах;
Узнали все. Но поздно было!
— Отец! убийца ты ее;
Где упование твое?
Терзайся век! живи уныло!..
Ее уж нет. И за тобой
Повсюду призрак роковой.
Кто гроб ее тебе укажет?
Беги! ищи ее везде!!!

«Где дочь моя?» — и отзыв скажет:
Где?..


<Азраил>

Речка, кругом широкие долины, курган, на берегу издохший конь лежит близ кургана, и вороны летают над ним. Все дико.

Азраил

(сидит на кургане)

Дождуся здесь; мне не жестка
Земля кургана. Ветер дует,
Серебряный ковыль волнует
И быстро гонит облака.
Кругом все дико и бесплодно.
Издохший конь передо мной
Лежит, и коршуны свободно
Добычу делят меж собой.
Уж хладные белеют кости,
И скоро пир кровавый свой
Незваные оставят гости.
Так точно и в душе моей:
Все пусто, лишь одно мученье
Грызет ее с давнишних дней
И гонит прочь отдохновенье;
Но никогда не устает
Его отчаянная злоба,
И в темной, темной келье гроба
Оно вовеки не уснет.
Все умирает, все проходит.
Гляжу, за веком век уводит

Толпы народов и миров
И с ними вместе исчезает.
Но дух мой гибели не знает;
Живу один средь мертвецов,
Законом общим позабытый,
С своими чувствами в борьбе,
С душой, страданьями облитой,
Не зная равного себе.
Полуземной, полунебесный,
Гонимый участью чудесной,
Я все мгновенное люблю,
Утрата мучит грудь мою.
И я бессмертен, и за что же!
Чем, чем возможно заслужить
Такую пытку? Боже, Боже!
Хотя бы мог я не любить!
Она придет сюда, я обниму
Красавицу и грудь к груди прижму,
У сердца сердце будет горячей;
Уста к устам чем ближе, тем сильней
Немая речь любви. Я расскажу
Ей все и мир и вечность покажу;
Она слезу уронит надо мной,
Смягчит Творца молитвой молодой,
Поймет меня, поймет мои мечты
И скажет: «Как велик, как жалок ты».

Сей речи звук мне будет жизни звук,
И этот час последний долгих мук.
Клянусь воспоминание об нем
Глубоко в сердце схоронить моем,
Хотя бы на меня восстал весь ад.
Тот угол, где я спрячу этот клад,
Не осквернит ни ропот, ни упрек,
Ни месть, ни зависть; пусть свирепый рок
Сбирает тучи, пусть моя звезда
В тумане вечном тонет навсегда,
Я не боюсь; есть сердце у меня
Надменное и полное огня,
Есть в нем любви ее святой залог,
Последнего ж не отнимает Бог.
Но слышен звук шагов, она, она.
Но для чего печальна и бледна?
Венок пестреет над ее челом,
Играет солнце медленным лучом
На белых персях, на ее кудрях —
Идет. Ужель меня тревожит страх?

Дева входит, цветы в руках и на голове, в белом платье, крест на груди у нее.

Дева

Ветер гудёт,
Месяц плывет,
Девушка плачет,

Милый в чужбину скачет.
Ни дева, ни ветер
Не замолкнут;
Месяц погаснет,
Милый изменит.

Прочь печальная песня. Я опоздала, Азраил. Так ли тебя зовут, мой друг? *(Садится рядом.)*

Азраил. Что до названья? Зови меня твоим любезным, пускай твоя любовь заменит мне имя, я никогда не желал бы иметь другого. Зови как хочешь смерть — уничтожением, гибелью, покоем, тлением, сном, — она все равно поглотит свои жертвы.

Дева. Полно с такими черными мыслями.

Азраил. Так, моя любовь чиста, как голубь, но она хранится в мрачном месте, которое темнеет с вечностью.

Дева. Кто ты?

Азраил. Изгнанник, существо сильное и побежденное. Зачем ты хочешь знать?

Дева. Что с тобою? Ты побледнел приметно, дрожь пробежала по твоим членам, твои веки опустились к земле. Милый, ты становишься страшен.

Азраил. Не бойся, все опять прошло.

Дева. О, я тебя люблю, люблю больше бла-

женства. Ты помнишь, когда мы встретились, я покраснела; ты прижал меня к себе, мне было так хорошо, так тепло у груди твоей. С тех пор моя душа с твоей одно. Ты несчастлив, вверь мне свою печаль, кто ты? откуда? ангел? демон?

Азраил. Ни то, ни другое.

Дева. Расскажи мне твою повесть; если ты потребуешь слез, у меня они есть; если потребуешь ласки, то я удушу тебя моими; если потребуешь помощи, о возьми все, что я имею, возьми мое сердце и приложи его к язве, терзающей твою душу; моя любовь сожжет этого червя, который гнездится в ней. Расскажи мне твою повесть!

Азраил. Слушай, не ужасайся, склонись к моему плечу, сбрось эти цветы, твои губы душистее. Пускай эти гвоздики, фиалки унесет ближний поток, как некогда время унесет твою собственную красоту. Как, ужели эта мысль ужасна, ужели в столько столетий люди не могли к ней привыкнуть, ужели никто не может пользоваться всею опытностью предшественников? О люди! Вы жалки, но со всем тем я сменял бы мое вечное существованье на мгновенную искру жизни человеческой, чтобы чувствовать хотя все то же, что теперь чувствую, но иметь надежду когда-нибудь позабыть, что я жил и мыслил. Слушай же

мою повесть.

Рассказ Азраила

Когда еще ряды светил
Земли не знали меж собой,
В те годы я уж в мире был,
Смотрел очами и душой,
Молился, действовал, любил.
И не один я сотворен,
Нас было много; чудный край
Мы населяли, только он,
Как ваш давно забытый рай,
Был преступленьем осквернен.
Я власть великую имел,
Летал, как мысль, куда хотел,
Мог звезды навещать порой
И любоваться их красой
Вблизи, не утомляя взор,
Как перелетный метеор
Я мог исчезнуть и блеснуть.
Везде мне был свободный путь.
Я часто ангелов видал
И громким песням их внимал,
Когда в багряных облаках
Они, качаясь на крылах,
Все вместе славили Творца,
И не было хвалам конца.

Я им завидовал: они
Беспечно проводили дни,
Не знали тайных беспокойств,
Душевных болей и расстройств,
Волнения враждебных дум
И горьких слез; их светлый ум
Безвестной цели не искал,
Любовью грешной не страдал,
Не знал пристрастия к вещам,
Он весь был отдан небесам.
Но я, блуждая много лет,
Искал — чего, быть может, нет:
Творенье, сходное со мной
Хотя бы мукою одной.
И начал громко я роптать,
Мое рожденье проклинать
И говорил: всесильный Бог,
Ты знать про будущее мог,
Зачем же сотворил меня?
Желанье глупое храня,
Везде искать мне суждено
Призрак, видение одно.
Ужели мил тебе мой стон?
И если я уж сотворен,
Чтобы игрушкою служить,
Душой, бессмертной может быть,

Зачем меня ты одарил?
Зачем я верил и любил?
И наказание в ответ
Упало на главу мою.
О, не скажу какое, нет!
Твою беспечность не убью,
Не дам понятия о том,
Что лишь с возвышенным умом
И с непреклонною душой
Изведать велено судьбой.
Чем дольше мука тяготит,
Тем глубже рана от нее;
Обливши смертью бытие,
Она опять его живит.
И эта жизнь пуста, мрачна,
Как пропасть, где не знают дна:
Глотая все, добро и зло,
Не наполняется она.
Взгляни на бледное чело,
Приметь морщин печальный ряд,
Неровный ход моих речей,
Мой горький смех, мой дикий взгляд
При вспоминанье прошлых дней,
И если тотчас не прочтешь
Ты ясно всех моих страстей,
То вечно, вечно не поймешь

Того, кто за безумный сон,
За миг столетьями казнен.
Я пережил звезду свою;
Как дым рассыпалась она,
Рукой Творца раздроблена;
Но смерти верной на краю,
Взирая на погибший мир,
Я жил один, забыт и сир.
По беспредельности небес
Блуждал я много, много лет
И зрел, как старый мир исчез
И как родился новый свет;
И страсти первые людей
Не скрылись от моих очей.
И ныне я живу меж вас,
Бессмертный, смертную люблю
И с трепетом свиданья час,
Как пылкий юноша, ловлю.
Когда же род людей пройдет
И землю вечность разобьет,
Услышав грозную трубу,
Я в новый удалюся мир
И стану там, как прежде сир,
Свою оплакивать судьбу.
Вот повесть чудная моя;
Поверь иль нет, мне все равно —

Доверчивое сердце я
Привык не находить давно;
Однако ж я молю: поверь
И тем тоску мою умерь.
Никто не мог тебя любить
Так пламенно, как я теперь.
Что сердце попусту язвить,
Зачем вдвойне его казнить?
Но нет, ты плачешь. Я любим,
Хоть только существом одним,
Хоть в первый и последний раз.
Мой ум светлей отныне стал,
И, признаюсь, лишь в этот час
Я умереть бы не желал.

Дева. Я тебя не понимаю, Азраил, ты говоришь так темно. Ты видел другой мир, где ж он? В нашем законе ничего не сказано о людях, живших прежде нас.

Азраил. Потому что закон Моисея не существовал прежде земли.

Дева. Полно, ты меня хочешь только испугать.

Азраил

бледнеет.

Дева. Я пришла сюда, чтобы с тобой проститься, мой милый. Моя мать говорит, что покамест это должно, я иду замуж. Мой жених славный воин,

его шлем блестит как жар, и меч его опаснее молнии.

Азраил. Вот женщина! Она обнимает одного и отдает свое сердце другому!

Дева. Что сказал ты? О, не сердись.

Азраил. Я не сержусь, *(горько)* и за что сердиться?



Ангел смерти

Посвящается А. М. В.....й
Тебе — тебе мой дар смиренный,
Мой труд безвестный и простой,
Но пламенный, но вдохновенный
Воспоминаньем и — тобой!
Я дни мои влачу, тоскуя
И в сердце образ твой храня.
Но об одном тебя прошу я:
Будь ангел смерти для меня.
Явись мне в грозный час страданья,
И поцелуй пусть будет твой
Залогом близкого свиданья
В стране любви, в стране другой!

Златой Восток, страна чудес,
Страна любви и сладострастья,
Где блещет роза — дочь небес,
Где все обильно, кроме счастья;
Где чище катится река,
Вольнее мчатся облака,
Пышнее вечер догорает
И мир всю прелесть сохраняет
Тех дней, когда печатью зла
Душа людей, по воле рока,
Не обесславлена была,
Люблю тебя, страна Востока!
Кто знал тебя, тот забывал
Свою отчизну; кто видал
Твоих красавиц, не забудет
Надменный пламень их очей
И без сомненья верить будет
Печальной повести моей.
Есть ангел смерти; в грозный час
Последних мук и расставанья
Он крепко обнимает нас,
Но холодны его лобзанья,
И страшен вид его для глаз
Бессильной жертвы; и невольно
Он заставляет трепетать,
И часто сердцу больно, больно

Последний вздох ему отдать.
Но прежде людям эти встречи
Казались — сладостный удел.
Он знал таинственные речи,
Он взором утешать умел,
И бурные смирял он страсти,
И было у него во власти
Больную душу как-нибудь
На миг надеждой обмануть!
Равно во все края вселенной
Являлся ангел молодой;
На все, что только прах земной,
Глядел с презрением нетленный;
Его приход благословенный
Дышал небесной тишиной;
Лучами тихими блистая,
Как полуночная звезда,
Манил он смертных иногда,
И провожал он к дверям рая
Толпы освобожденных душ,
И сам был счастлив. Почему ж
Теперь томит его объятье,
И поцелуй его — проклятье?
Недалеко от берегов
И волн ревущих океана,
Под жарким небом Индостана

Синеет длинный ряд холмов.
Последний холм высок и страшен,
Скалами серыми украшен
И вдался в море; и на нем
Орлы да коршуны гнездятся,
И рыбаки к нему боятся
Подъехать в сумраке ночном.
Прикрыта дикими кустами,
На нем пещера есть одна —
Жилище змей — хладна, темна,
Как ум, обманутый мечтами,
Как жизнь, которой цели нет,
Как не досказанный очами
Убийцы хитрого привет.
Ее лампада — месяц полный,
С ней говорят морские волны,
И у отверстия стоят
Сторожевые пальмы в ряд.
Давным-давно в ней жил изгнанник,
Пришелец, юный Зораим.
Он на земле был только странник,
Людьми и небом был гоним.
Он мог быть счастлив, но блаженства
Искал в забавах он пустых,
Искал он в людях совершенства,
А сам — сам не был лучше их;

Искал великого в ничтожном,
Страшась надеяться, жалел
О том, что было счастьем ложным,
И, став без пользы осторожным,
Поверить никому не смел.
Любил он ночь, свободу, горы,
И все в природе — и людей, —
Но избегал их. С ранних дней
К презренью приучил он взоры,
Но сердца пылкого не мог
Заставить так же охладиться:
Любовь насильства не боится,
Она — хоть презренна — все Бог.
Одно сокровище — святыню
Имел под небесами он;
С ним раем почитал пустыню…
Но что ж? всегда ли верен сон?..
На гордых высотах Ливана
Растет могильный кипарис,
И ветви плюща обвились
Вокруг его прямого стана;
Пусть вихорь мчится и шумит
И сломит кипарис высокой, —
Вкруг кипариса плющ обвит:
Он не погибнет одиноко!..
Так, миру чуждый, Зораим

Не вовсе беден — Ада с ним!
Она резва, как лань степная,
Мила, как цвет душистый рая;
Все страстно в ней: и грудь и стан,
Глаза — два солнца южных стран.
И деве было все забавой,
Покуда не явился ей
Изгнанник бледный, величавый,
С холодной дерзостью очей;
И ей пришло тогда желанье —
Огонь в очах его родить
И в мертвом сердце возбудить
Любви безумное страданье,
И удалось ей. Зораим
Любил — с тех пор, как был любим;
Судьбина их соединила,
А разлучит — одна могила!
На синих небесах луна
С звездами дальными сияет,
Лучом в пещеру ударяет;
И беспокойная волна,
Ночной прохладою полна,
Утес, белея, обнимает.
Я помню — в этот самый час
Обыкновенно нежный глас,
Сопровождаемый игрою,

Звучал, теряясь за горою:
Он из пещеры выходил.
Какой же демон эти звуки
Волшебной властью усыпил?..
Почти без чувств, без дум, без сил,
Лежит на ложе смертной муки
Младая Ада. Ветерок
Не освежит ее ланиты,
И томный взор, полуоткрытый,
Напрасно смотрит на восток,
И утра ждет она напрасно:
Ей не видать зари прекрасной,
Она до утра будет там,
Где солнца уж не нужно нам.
У изголовья, пораженный
Боязнью тайной, Зораим
Стоит — коленопреклоненный,
Тоской отчаянья томим.
В руке изгнанника белеет
Девицы хладная рука,
И жизни жар ее не греет.
«Но смерть, — он мыслит, — не близка!
Рука — не жизнь; болезнь простая —
Все не кончина роковая!»
Так иногда надежды свет
Являет то, чего уж нет;

И нам хотя не остается
Для утешенья ничего,
Она над сердцем все смеется,
Не исчезая из него.
В то время смерти ангел нежный
Летел чрез южный небосклон;
Вдруг слышит ропот он мятежный,
И плач любви — и слабый стон,
И, быстрый как полет мгновенья,
К пещере подлетает он.
Тоску последнего мученья
Дух смерти усладить хотел
И на устах покорной Ады
Свой поцелуй напечатлел:
Он дать не мог другой отрады!
Или, быть может, Зораим
Еще замечен не был им…
Но скоро при огне лампады
Недвижный, мутный встретив взор,
Он в нем прочел себе укор;
И ангел смерти сожаленье
В душе почувствовал святой.
Скажу ли? — даже в преступленье
Он обвинял себя порой.
Он отнял все у Зораима:
Одна была лишь им любима,

Его любовь была сильней
Всех дум и всех других страстей.
И он не плакал, — но понятно
По цвету бледному чела,
Что мука смерть превозмогла,
Хоть потерял он невозвратно.
И ангел знал, — и как не знать?
Что безнадежности печать
В спокойном холоде молчанья,
Что легче плакать, чем страдать
Без всяких признаков страданья.
И ангел мыслью поражен
Достойною небес: желает
Вознаградить страдальца он.
Ужель Создатель запрещает
Несчастных утешать людей?
И девы труп он оживляет
Душою ангельской своей.
И, чудо! кровь в груди остылой
Опять волнуется, кипит;
И взор, волшебной полон силой,
В тени ресниц ее горит.
Так ангел смерти съединился
Со всем, чем только жизнь мила;
Но ум границам подчинился,
И власть — не та уж, как была,

И только в памяти туманной
Хранит он думы прежних лет;
Их появленье Аде странно,
Как ночью метеора свет,
И ей смешна ее беспечность
И ей грядущее темно,
И чувства, вечные как вечность,
Соединились все в одно.
Желаньям друга посвятила
Она все радости свои,
Как будто смерть и не гасила
В невинном сердце жар любви!..
Однажды на скале прибрежной,
Внимая плеск волны морской,
Задумчив, рядом с Адой нежной,
Сидел изгнанник молодой.
Лучи вечерние златили
Широкий синий океан,
И видно было сквозь туман,
Как паруса вдали бродили.
Большие черные глаза
На друга дева устремляла,
Но в диком сердце бушевала,
Казалось, тайная гроза.
Порой рассеянные взгляды
На красный запад он кидал

И вдруг, взяв тихо руку Ады
И обратившись к ней, сказал:
«Нет! не могу в пустыне доле
Однообразно дни влачить;
Я волен — но душа в неволе:
Ей должно цепи раздробить…
Что жизнь? — давай мне чашу славы,
Хотя бы в ней был смертный яд,
Я не вздрогну — я выпить рад:
Не все ль блаженства — лишь отравы?
Когда-нибудь все должен я
Оставить ношу бытия…
Скажи, ужель одна могила
Ничтожный в мире будет след
Того, чье сердце столько лет
Мысль о ничтожестве томила?
И мне покойну быть? — о нет!..
Взгляни: за этими горами
С могучим войском под шатрами
Стоят два грозные царя;
И завтра, только что заря
Успеет в облаках проснуться,
Труба войны и звук мечей
В пустыне нашей раздадутся.
И к одному из тех царей
Идти как воин я решился,

Но ты не жди, чтоб возвратился
Я побежденным. Нет, скорей
Волна, гонимая волнами
По бесконечности морей,
В приют родимых камышей
Воротится. Но если с нами
Победа будет, я принесть
Клянусь тебе жемчуг и злато,
Себе одну оставлю честь…
И буду счастлив, и тогда-то
Мы заживем с тобой богато…
Я знаю: никогда любовь
Геройский меч не презирала,
Но если б даже ты желала…
Мой друг, я должен видеть кровь!
Верь: для меня ничто угрозы
Судьбы коварной и слепой.
Как? ты бледнеешь?.. слезы? слезы?
Об чем же плакать, ангел мой?»
И ангел-дева отвечает:
«Видал ли ты, как отражает
Ручей склонившийся цветок?
Когда вода не шевелится,
Он неподвижно в ней глядится,
Но если свежий ветерок
Волну зеленую встревожит,

И всколебается волна,
Ужели тень цветочка может
Не колебаться, как она?
Мою судьбу с твоей судьбою
Соединил так точно рок,
Волна — твой образ, мой — цветок.
Ты грустен, — я грустна с тобою.
Как знать? — быть может, этот час
Последний счастливый для нас!..»
Зачем в долине сокровенной
От миртов дышит аромат?
Зачем?.. Властители вселенной,
Природу люди осквернят.
Цветок измятый обагрится
Их кровью, и стрела промчится
На место птицы в небесах,
И солнце отуманит прах.
Крик победивших, стон сраженных
Принудят мирных соловьев
Искать в пределах отдаленных
Иных долин, других кустов,
Где красный день, как ночь, спокоен,
Где их царицу, их любовь,
Не стопчет розу мрачный воин
И обагрить не может кровь.
Чу!.. топот… пыль клубится тучей,

И вот звучит труба войны,
И первый свист стрелы летучей
Раздался в каждой стороне!
Новорожденное светило
С лазурной неба вышины
Кровавым блеском озарило
Доспехи ратные бойцов.
Меж тем войска еще сходились
Все ближе, ближе — и сразились;
И треску копий и щитов,
Казалось, сами удивились.
Но мщенье — царь в душах людей
И удивления сильней.
Была ужасна эта встреча,
Подобно встрече двух громов
В грозу меж дымных облаков.
С успехом равным длилась сеча,
И все теснилось. Кровь рекой
Лилась везде, мечи блистали,
Как тени знамена блуждали
Над каждой темною толпой,
И с криком смерти роковой
На трупы трупы упадали…
Но отступает, наконец,
Одна толпа; и побежденный
Уж не противится боец;

И по траве окровавленной
Скользит испуганный беглец.
Один лишь воин, окруженный
Враждебным войском, не хотел
Еще бежать. Из мертвых тел
Вокруг него была ограда…
И тут остался он один.
Он не был царь иль царский сын,
Хоть одарен был силой взгляда
И гордой важностью чела.
Но вдруг коварная стрела
Пронзила витязя младого,
И шумно навзничь он упал,
И кровь струилась… и ни слова
Он, упадая, не сказал,
Когда победный крик раздался,
Как погребальный крик, над ним,
И мимо смелый враг промчался,
Огнем пылая боевым.
На битву издали взирая
С горы кремнистой и крутой,
Стояла Ада молодая
Одна, волнуема тоской,
Высоко перси подымая,
Боязнью сердце билось в ней,
Всечасно слезы набегали

На очи, полные печали…
О Боже! — Для таких очей
Кто не пожертвовал бы славой?
Но Зораиму был милей
Девичьей ласки путь кровавый!
Безумец! ты цены не знал
Всему, всему, чем обладал,
Не ведал ты, что ангел нежный
Оставил рай свой безмятежный,
Чтоб сердце Ады оживить;
Что многих он лишил отрады
В последний миг, чтоб усладить
Твое страданье. Бедной Ады
Мольбу отвергнул хладно ты;
Возможно ль? ангел красоты
Тебе, изгнанник, не дороже
Надменной и пустой мечты?..
Она глядит и ждет… но что же?
Давно уж в поле тишина,
Враги умчались за врагами,
Лишь искаженными телами
Долина битвы устлана…
Увы! где ангел утешенья?
Где вестник рая молодой?
Он мучим страстию земной
И не услышит их моленья…

Уж солнце низко — Ада ждет…
Все тихо вкруг… *он* все нейдет!..
Она спускается в долину
И видит страшную картину.
Идет меж трупов чуть дыша;
Как у невинного пред казнью,
Надеждой, смешанной с боязнью,
Ее волнуется душа.
Она предчувствовать страшится,
И с каждым шагом воротиться
Она желала б; но любовь
Превозмогла в ней ужас вновь;
Бледны ланиты девы милой,
На грудь склонилась голова…
И вот недвижна! Такова
Была б лилея над могилой!
Где Зораим? Что, если он
Убит? — но чей раздался стон?
Кто этот раненный стрелою
У ног красавицы? Чей глас
Так сильно душу в ней потряс?
Он мертвых окружен грядою,
Но час кончины и над ним…
Кто ж он? — Свершилось! — Зораим.
«Ты здесь? теперь? — и ты ли, Ада?
О! твой приход мне не отрада!

Зачем? — Для ужасов войны
Твои глаза не созданы,
Смерть не должна быть их предметом;
Тебя излишняя любовь
Вела сюда — что пользы в этом?..
Лишь я хотел увидеть кровь
И вижу… и приход мгновенья,
Когда усну, без сновиденья.
Никто — я сам тому виной…
Я гибну! Первою звездой
Нам возвестит судьба разлуку.
Не бойся крови, дай мне руку:
Я виноват перед тобой…
Прости! Ты будешь сиротой,
Ты не найдешь родных, ни крова,
И даже — на груди другого
Не будешь счастлива опять:
Кто может дважды счастье знать?
Мой друг! к чему твои лобзанья
Теперь столь полные огня?
Они не оживят меня
И увеличат лишь страданья,
Напомнив, как я счастлив был;
О, если б, если б я забыл,
Что в мире есть воспоминанья!
Я чувствую, в груди моей

Все ближе, ближе смертный холод.
О, кто б подумал, как я молод!
Как много я провел бы дней
С тобою, в тишине глубокой,
Под тенью пальм береговых,
Когда б сегодня рок жестокой
Не обманул надежд моих!..
Еще в стране моей родимой
Гадатель мудрый, всеми чтимый,
Мне предсказал, что час придет —
И громкий подвиг совершу я,
И глас молвы произнесет
Мое названье, торжествуя,
Но…» Тут, как арфы дальней звон,
Его слова невнятны стали,
Глаза всю яркость потеряли
И ослабел приметно он…
Страдальцу Ада не внимала,
Лишь молча крепко обнимала,
Забыв, что у нее уж нет
Чудесной власти прежних лет;
Что поцелуй ее бессильный,
Ничтожный, как ничтожный звук,
Не озаряет тьмы могильной,
Не облегчит последних мук.
Меж тем на своде отдаленном

Одна алмазная звезда
Явилась в блеске неизменном,
Чиста, прекрасна как всегда,
И мнилось: луч ее не знает,
Что на земле он озаряет:
Так он игриво нисходил
На жертву тленья и могил.
И Зораим хотел напрасно
Последним ласкам отвечать;
Все, все, что может он сказать —
Уныло, мрачно, — но не страстно!
Уж пламень слез ее не жжет
Ланиты хладные как лед,
Уж тихо каплет кровь из раны;
И с криком, точно дух ночной,
Над ослабевшей головой
Летает коршун, гость незваный.
И грустно юноша взглянул
На отдаленное светило,
Взглянул он в очи деве милой,
Привстал — и вздрогнул — и вздохнул —
И умер. С синими губами
И с побелевшими глазами,
Лик — прежде нежный — был страшней
Всего, что страшно для людей.
Чья тень прозрачной мглой одета,

Как заблудившийся луч света,
С земли возносится туда,
Где блещет первая звезда?
Венец играет серебристый
Над мирным, радостным челом,
И долго виден след огнистый
За нею в сумраке ночном…
То ангел смерти, смертью тленной
От уз земных освобожденный!..
Он тело девы бросил в прах:
Его отчизна в небесах.
Там все, что он любил земного,
Он встретит и полюбит снова!..
Все тот же он, и власть его
Не изменилась ничего;
Прошло печали в нем волненье,
Как улетает призрак сна,
И только хладное презренье
К земле оставила она:
За гибель *друга* в нем осталось
Желанье миру мстить всему;
И ненависть к другим, казалось,
Была любовию *к нему.*
Все тот же он — и бесконечность,
Как мысль, он может пролетать
И может взором измерять

Лета, века и даже вечность.
Но ангел смерти молодой
Простился с прежней добротой;
Людей узнал он: «Состраданья
Они не могут заслужить;
Не награжденье — наказанье
Последний миг их должен быть.
Они коварны и жестоки,
Их добродетели — пороки,
И жизнь им в тягость с юных лет…» —
Так думал он — зачем же нет?..
Его неизбежимой встречи
Боится каждый с этих пор;
Как меч — его пронзает взор;
Его приветственные речи
Тревожат нас, как злой укор,
И льда хладней его объятье,
И поцелуй его — проклятье!..



Хаджи Абрек

Велик, богат аул Джемат,
Он никому не платит дани;
Его стена — ручной булат;
Его мечеть — на поле брани.
Его свободные сыны
В огнях войны закалены;
Дела их громки по Кавказу,
В народах дальних и чужих,
И сердца русского ни разу
Не миновала пуля их.
По небу знойный день катится,
От скал горячих пар струится;
Орел, недвижим на крылах,
Едва чернеет в облаках;
Ущелья в сон погружены:
В ауле нет лишь тишины.
Аул встревоженный пустеет,
И под горой, где ветер веет,
Где из утеса бьет поток,
Стоит внимательный кружок.
Об чем ведет переговоры
Совет джематских удальцов?
Хотят ли вновь пуститься в горы
На ловлю чуждых табунов?
Не ждут ли русского отряда,
До крови лакомых гостей?

Нет, — только жалость и досада
Видна во взорах узденей.
Покрыт одеждами чужими,
Сидит на камне между ними
Лезгинец дряхлый и седой;
И льется речь его потоком,
И вкруг себя блестящим оком
Печально водит он порой.
Рассказу старого лезгина
Внимали все. Он говорил:
«Три нежных дочери, три сына
Мне Бог на старость подарил;
Но бури злые разразились,
И ветви древа обвалились,
И я стою теперь один,
Как голый пень среди долин.
Увы, я стар! Мои седины
Белее снега той вершины.
Но и под снегом иногда
Бежит кипучая вода!..
Сюда, наездники Джемата!
Откройте удаль мне свою!
Кто знает князя Бей-Булата?
Кто возвратит мне дочь мою?
В плену сестры ее увяли,
В бою неровном братья пали;

В чужбине двое, а меньшой
Пронзен штыком передо мной.
Он улыбался, умирая!
Он, верно, зрел, как дева рая
К нему слетела пред концом,
Махая радужным венцом!..
И вот пошел я жить в пустыню
С последней дочерью своей.
Ее хранил я, как святыню;
Все, что имел я, было в ней:
Я взял с собою лишь ее,
Да неизменное ружье.
В пещере с ней я поселился,
Родимой хижины лишен:
К беде я скоро приучился,
Давно был к воле приучен.
Но час ударил неизбежный,
И улетел птенец мой нежный!..
Однажды ночь была глухая,
Я спал… Безмолвно надо мной
Зеленой веткою махая,
Сидел мой ангел молодой.
Вдруг просыпаюсь: слышу, шепот, —
И слабый крик, — и конский топот…
Бегу и вижу — под горой
Несется всадник с быстротой,

Схватив ее в свои объятья.
Я с ним послал свои проклятья.
О, для чего, второй гонец,
Настичь не мог их мой свинец!
С кровавым мщеньем, вот здесь скрытым,
Без сил отмстить за свой позор,
Влачусь я по горам с тех пор,
Как змей, раздавленный копытом.
И нет покоя для меня
С того мучительного дня…
Сюда, наездники Джемата!
Откройте удаль мне свою!
Кто знает князя Бей-Булата?
Кто привезет мне дочь мою?»
«Я!» — молвил витязь черноокий,
Схватившись за кинжал широкий,
И в изумлении немом
Толпа раздвинулась кругом.
«Я знаю князя! Я решился!..
Две ночи здесь ты жди меня:
Хаджи бесстрашный не садился
Ни разу даром на коня.
Но если я не буду к сроку,
Тогда обет мой позабудь,
И об душе моей пророку
Ты помолись, пускаясь в путь».

Взошла заря. Из-за туманов
На небосклоне голубом
Главы гранитных великанов
Встают увенчанные льдом.
В ущелье облако проснулось,
Как парус розовый, надулось
И понеслось по вышине.
Все дышит утром. За оврагом,
По косогору едет шагом
Черкес на борзом скакуне.
Еще ленивое светило
Росы холмов не осушило.
Со скал высоких, над путем,
Склонился дикий виноградник;
Его серебряным дождем
Осыпан часто конь и всадник:
Небрежно бросив повода,
Красивой плеткой он махает
И песню дедов иногда,
Склонясь на гриву, запевает.
И дальний отзыв за горой
Уныло вторит песни той.
Есть поворот — и путь, прорытый
Арбы скрипучим колесом,
Там, где красивые граниты
Рубчатым сходятся венцом.

Оттуда он, как под ногами,
Смиренный различит аул,
И пыль, поднятую стадами,
И пробужденья первый гул,
И на краю крутого ската
Отметит саклю Бей-Булата
И, как орел, с вершины гор
Вперит на крышу светлый взор.
В тени прохладной, у порога,
Лезгинка юная сидит.
Пред нею тянется дорога,
Но грустно вдаль она глядит.
Кого ты ждешь, звезда востока,
С заботой нежною такой?
Не друг ли будет издалека?
Не брат ли с битвы роковой?
От зноя утомясь дневного,
Твоя головка уж готова
На грудь высокую упасть;
Рука скользнула вдоль колена,
И неги сладостная власть
Плечо исторгнула из плена;
Отяготел твой ясный взор,
Покрывшись влагою жемчужной;
В твоих щеках как метеор
Играет пламя крови южной;

Уста волшебные твои
Зовут лобзание любви.
Немым встревожена желаньем
Обнять ты ищешь что-нибудь,
И перси слабым трепетаньем
Хотят покровы оттолкнуть.
О, где ты, сердца друг бесценный!..
Но вот — и топот отдаленный,
И пыль знакомая взвилась,
И дева шепчет: «Это князь!»
Легко надежда утешает,
Легко обманывает глаз:
Уж близко путник подъезжает…
Увы, она его не знает
И видит только в первый раз!
То странник, в поле запоздалый,
Гостеприимный ищет кров;
Дымится конь его усталый,
И он спрыгнуть уже готов…
Спрыгни же, всадник!.. Что же он
Как будто крова испугался?
Он смотрит! Краткий, грустный стон
От губ сомкнутых оторвался,
Как лист от ветви молодой,
Измятый летнею грозой!
«Что медлишь, путник, у порога?

Слезай с походного коня.
Случайный гость — подарок Бога.
Кумыс и мед есть у меня.
Ты, вижу, беден; я богата.
Почти же кровлю Бей-Булата!
Когда опять поедешь в путь,
В молитве нас не позабудь!»
Хаджи Абрек
Аллах спаси тебя, Леила!
Ты гостя лаской подарила;
И от отца тебе поклон
За то привез с собою он.
Леила
Как! Мой отец? Меня поныне
В разлуке долгой не забыл?
Где он живет?
Хаджи Абрек
Где прежде жил:
То в чуждой сакле, то в пустыне.
Леила
Скажи: он весел, он счастлив?
Скорей ответствуй мне…
Хаджи Абрек
Он жив.
Хотя порой дождям и стуже
Открыта голова его…

Но ты?
Леила
Я счастлива…
Хаджи Абрек (*тихо*)
Тем хуже!
Леила
А? что ты молвил?..
Хаджи Абрек
Ничего!
Сидит пришелец за столом.
Чихирь с серебряным пшеном
Пред ним не тронуты доселе
Стоят! Он странен, в самом деле!
Как на челе его крутом
Блуждают, движутся морщины!
Рукою лет или кручины
Проведены они по нем?
Развеселить его желая,
Леила бубен свой берет;
В него перстами ударяя,
Лезгинку пляшет и поет.
Ее глаза как звезды блещут,
И груди полные трепещут;
Восторгом детским, но живым
Душа невинная объята:
Она кружится перед ним

Как мотылек в лучах заката.
И вдруг звенящий бубен свой
Подъемлет белыми руками;
Вертит его над головой
И тихо черными очами
Поводит, — и, без слов, уста
Хотят сказать улыбкой милой:
«Развеселись, мой гость унылый!
Судьба и горе — все мечта!»
Хаджи Абрек
Довольно! Перестань, Леила;
На миг веселость позабудь:
Скажи, ужель когда-нибудь
О смерти мысль не приходила
Тебя встревожить? отвечай.
Леила
Нет! Что мне хладная могила?
Я на земле нашла свой рай.
Хаджи Абрек
Еще вопрос: ты не грустила
О дальней родине своей,
О светлом небе Дагестана?
Леила
К чему? Мне лучше, веселей
Среди нагорного тумана.
Везде прекрасен Божий свет.

Отечества для сердца нет!
Оно насилья не боится,
Как птичка вырвется, умчится.
Поверь мне — счастье только там,
Где любят нас, где верят нам!
Хаджи Абрек
Любовь!.. Но знаешь ли, какое
Блаженство на земле второе
Тому, кто все похоронил,
Чему он верил, что любил!
Блаженство то верней любови
И только хочет слез да крови.
В нем утешенье для людей,
Когда умрет другое счастье;
В нем преступлений сладострастье,
В нем ад и рай души моей.
Оно при нас всегда, бессменно;
То мучит, то ласкает нас…
Нет, за единый мщенья час,
Клянусь, я не взял бы вселенной!
Леила
Ты бледен?
Хаджи Абрек
Выслушай. Давно
Тому назад имел я брата;
И он, — так было суждено, —

Погиб от пули Бей-Булата.
Погиб без славы, не в бою,
Как зверь лесной, — врага не зная;
Но месть и ненависть свою
Он завещал мне, умирая.
И я убийцу отыскал:
И занесен был мой кинжал,
Но я подумал: «Это ль мщенье?
Что смерть! Ужель одно мгновенье
Заплатит мне за столько лет
Печали, грусти, мук?.. О нет!
Он что-нибудь да в мире любит:
Найду любви его предмет,
И мой удар его погубит!»
Свершилось наконец. Пора!
Твой час пробил еще вчера.
Смотри, уж блещет луч заката!..
Пора! я слышу голос брата.
Когда сегодня в первый раз
Я увидал твой образ нежный,
Тоскою горькой и мятежной
Душа, как адом, вся зажглась.
Но это чувство улетело…
Валла́х! исполню клятву смело!
Как зимний снег в горах, бледна,
Пред ним повергнулась она

На ослабевшие колени;
Мольбы, рыданья, слезы, пени
Перед жестоким излились.
«Ох, ты ужасен с этим взглядом!
Нет, не смотри так! Отвернись!
По мне текут холодным ядом
Слова твои… О, Боже мой!
Ужель ты шутишь надо мной?
Ответствуй! ничего не значат
Невинных слезы пред тобой?
О, сжалься!.. Говори — как плачут
В твоей родимой стороне?
Погибнуть рано, рано мне!..
Оставь мне жизнь! оставь мне младость!
Ты знал ли, что такое радость?
Бывал ли ты во цвете лет
Любим, как я?.. О, верно нет!»
Хаджи в молчанье роковом
Стоял с нахмуренным челом.
«В твоих глазах ни сожаленья,
Ни слез, жестокий, не видать!..
Ах!.. Боже!.. Ай!.. дай подождать!..
Хоть час один… одно мгновенье!!.»
Блеснула шашка. Раз — и два!
И покатилась голова…
И окровавленной рукою

С земли он приподнял ее.
И острой шашки лезвеё
Обтер волнистою косою.
Потом, бездушное чело
Одевши буркою косматой,
Он вышел и прыгнул в седло.
Послушный конь его, объятый
Внезапно страхом неземным,
Храпит и пенится под ним:
Щетиной грива, — ржет и пышет,
Грызет стальные удила,
Ни слов, ни повода не слышит
И мчится в горы как стрела.
Заря бледнеет; поздно, поздно,
Сырая ночь недалека!
С вершин Кавказа тихо, грозно
Ползут, как змеи, облака:
Игру бессвязную заводят,
В провалы душные заходят,
Задев колючие кусты,
Бросают жемчуг на листы.
Ручей катится — мутный, серый;
В нем пена бьет из-под травы;
И блещет сквозь туман пещеры,
Как очи мертвой головы.
Скорее, путник одинокой!

Закройся буркою широкой,
Ремянный повод натяни,
Ремянной плеткою махни.
Тебе вослед еще не мчится
Ни горный дух, ни дикий зверь,
Но если можешь ты молиться,
То не мешало бы — теперь.
«Скачи, мой конь! Пугливым оком
Зачем глядишь перед собой?
То камень, сглаженный потоком!..
То змей блистает чешуей!..
Твоею гривой в поле брани
Стирал я кровь с могучей длани;
В степи глухой, в недобрый час,
Уже не раз меня ты спас.
Мы отдохнем в краю родном;
Твою уздечку еще боле
Обвешу русским серебром;
И будешь ты в зеленом поле.
Давно ль, давно ль ты изменился,
Скажи, товарищ дорогой?
Что рано пеною покрылся?
Что тяжко дышишь подо мной?
Вот месяц выйдет из тумана,
Верхи дерев осеребрит,
И нам откроется поляна,

Где наш аул во мраке спит;
Заблещут, издали мелькая,
Огни джематских пастухов,
И различим мы, подъезжая,
Глухое ржанье табунов;
И кони вкруг тебя столпятся…
Но стоит мне лишь приподняться;
Они в испуге захрапят,
И все шарахнутся назад:
Они почуют издалека,
Что мы с тобою дети рока!..»
Долины ночь еще объемлет,
Аул Джемат спокойно дремлет;
Один старик лишь в нем не спит.
Один, как памятник могильный,
Недвижим, близ дороги пыльной,
На сером камне он сидит.
Его глаза на путь далекой
Устремлены с тоской глубокой.
«Кто этот всадник? Бережливо
Съезжает он с горы крутой;
Его товарищ долгогривый
Поник усталой головой.
В руке, под буркою дорожной,
Он что-то держит осторожно
И бережет как свет очей».

И думает старик согбенный:
«Подарок, верно, драгоценный
От милой дочери моей!»
Уж всадник близок: под горою
Коня он вдруг остановил;
Потом дрожащею рукою
Он бурку темную открыл;
Открыл, — и дар его кровавый
Скатился тихо на траву.
Несчастный видит, — Боже правый!
Своей Леилы голову!..
И он, в безумном восхищенье,
К своим устам ее прижал!
Как будто ей передавал
Свое последнее мученье.
Всю жизнь свою в единый стон,
В одно лобзанье вылил он.
Довольно люди <и> печали
В нем сердце бедное терзали!
Как нить, истлевшая давно,
Разорвалося вдруг оно,
И неподвижные морщины
Покрылись бледностью кончины.
Душа так быстро отлетела,
Что мысль, которой до конца
Он жил, черты его лица

Совсем оставить не успела.
Молчанье мрачное храня,
Хаджи ему не подивился:
Взглянул на шашку, на коня —
И быстро в горы удалился.
Промчался год. В глухой теснине
Два трупа смрадные, в пыли,
Блуждая, путники нашли
И схоронили на вершине.
Облиты кровью были оба,
И ярко начертала злоба
Проклятие на их челе.
Обнявшись крепко, на земле
Они лежали, костенея,
Два друга с виду — два злодея!
Быть может, то одна мечта,
Но бедным странникам казалось,
Что их лицо порой менялось,
Что всё грозили их уста.
Одежда их была богата,
Башлык их шапки покрывал:
В одном узнали Бей-Булата,
Никто другого не узнал.



Сашка

Нравственная поэма

1
Наш век смешон и жалок, — всё пиши
Ему про казни, цепи да изгнанья,
Про темные волнения души,
И только слышишь муки да страданья.
Такие вещи очень хороши
Тому, кто мало спит, кто думать любит,
Кто дни свои в воспоминаньях губит.
Впадал я прежде в эту слабость сам
И видел от нее лишь вред глазам;
Но нынче я не тот уж, как бывало, —
Пою, смеюсь. Герой мой добрый малый.

2
Он был мой друг. С ним я не знал хлопот,
С ним чувствами и деньгами делился;
Он брал на месяц, отдавал чрез год,
Но я за то нимало не сердился
И поступал не лучше в свой черед;
Печален ли, бывало, тотчас скажет,
Когда же весел, счастлив — глаз не кажет.
Не раз от скуки он свои мечты
Мне поверял и говорил мне «ты»;
Хвалил во мне, что прочие хвалили,
И был мой вечный визави в кадрили.

3

Он был мой друг. Уж нет таких друзей…
Мир сердцу твоему, мой милый Саша!
Пусть спит оно в земле чужих полей,
Не тронуто никем, как дружба наша
В немом кладбище памяти моей.
Ты умер, как и многие, без шума,
Но с твердостью. Таинственная дума
Еще блуждала на челе твоем,
Когда глаза сомкнулись вечным сном;
И то, что ты сказал перед кончиной,
Из слушавших не понял ни единый.

4

И было ль то привет стране родной,
Названье ли оставленного друга,
Или тоска по жизни молодой,
Иль просто крик последнего недуга —
Как разгадать? Что может в час такой
Наполнить сердце, жившее так много
И так недолго с смутною тревогой?
Один лишь друг умел тебя понять
И ныне может, должен рассказать
Твои мечты, дела и приключенья —
Глупцам в забаву, мудрым в поученье.

5

Будь терпелив, читатель милый мой!

Кто б ни был ты: внук Евы иль Адама,
Разумник ли, шалун ли молодой, —
Картина будет; это — только рама!
От правил, утвержденных стариной,
Не отступлю, — я уважаю строго
Всех стариков, а их теперь так много…
Не правда ль, кто не стар в осьмнадцать лет,
Тот, верно, не видал людей и свет,
О наслажденьях знает лишь по слухам
И предан был учителям да мукам.

6

Герой наш был москвич, и потому
Я враг Неве и невскому туману.
Там (я весь мир в свидетели возьму)
Веселье вредно русскому карману,
Занятья вредны русскому уму.
Там жизнь грязна, пуста и молчалива,
Как плоский берег Финского залива.
Москва — не то: покуда я живу,
Клянусь, друзья, не разлюбить Москву.
Там я впервые в дни надежд и счастья
Был болен от любви и любострастья.

7

Москва, Москва!.. люблю тебя, как сын,
Как русский, — сильно, пламенно и нежно!

Люблю священный блеск твоих седин
И этот Кремль зубчатый, безмятежный.
Напрасно думал чуждый властелин
С тобой, столетним русским великаном,
Померяться главою и обманом
Тебя низвергнуть. Тщетно поражал
Тебя пришлец: ты вздрогнул — он упал!
Вселенная замолкла… Величавый,
Один ты жив, наследник нашей славы.

8

Ты жив!.. Ты жив, и каждый камень твой —
Заветное преданье поколений.
Бывало, я у башни угловой
Сижу в тени, и солнца луч осенний
Играет с мохом в трещине сырой,
И из гнезда, прикрытого карнизом,
Касатки вылетают, верхом, низом
Кружатся, вьются, чуждые людей.
И я, так полный волею страстей,
Завидовал их жизни безызвестной,
Как упованье вольной поднебесной.

9

Я не философ —Боже сохрани! —
И не мечтатель. За полетом пташки
Я не гонюсь, хотя в былые дни

Не вовсе чужд был глупой сей замашки.
Ну, муза, — ну, скорее, — разверни
Запачканный листок свой подорожный!..
Не завирайся, — тут зоил безбожный…
Куда теперь нам ехать из Кремля?
Ворот ведь много, велика земля!
Куда? «На Пресню погоняй, извозчик!»
«Старуха, прочь!.. Сворачивай, разносчик!»

10

Луна катится в зимних облаках,
Как щит варяжский или сыр голландской.
Сравненье дерзко, но люблю я страх
Все дерзости, по вольности дворянской.
Спокойствия рачитель на часах
У будки пробудился, восклицая:
«Кто едет?» — «Муза!» — «Что за черт! Какая?»
Ответа нет. Но вот уже пруды…
Белеет мост, по сторонам сады
Под инеем пушистым спят унылы;
Луна сребрит железные перилы.

11

Гуляка праздный, пьяный молодец,
С осанкой важной, в фризовой шинели,
Держась за них, бредет — и вот конец
Перилам. «Всё направо!» Заскрипели

Полозья по сугробам, как резец
По мрамору… Лачуги, цепью длинной
Мелькая мимо, кланяются чинно…
Вдали мелькнул знакомый огонек…
«Держи к воротам… Стой, — сугроб глубок!..
Пойдем по снегу, муза, только тише
И платье подними как можно выше».

12

Калитка — скрып… Двор темен. По доскам
Идти неловко… Вот насилу сени
И лестница; но снегом по местам
Занесена. Дрожащие ступени
Грозят мгновенно изменить ногам.
Взошли. Толкнули дверь — и свет огарка
Ударил в очи. Толстая кухарка,
Прищурясь, заграждает путь гостям
И вопрошает: «Что угодно вам?» —
И, услыхав ответ красноречивый,
Захлопнув дверь, бранится неучтиво…

13

Но, несмотря на это, мы взойдем:
Вы знаете, для музы и поэта,
Как для хромого беса, каждый дом
Имеет вход особый; ни секрета,
Ни запрещенья нет для нас ни в чем…

У столика, в одном углу светлицы,
Сидели две… девицы — не девицы…
Красавицы… названье тут как раз!..
Чем выгодней, узнать прошу я вас
От наших дам, в деревне и столице
Красавицею быть или девицей?

14
Красавицы сидели за столом,
Раскладывая карты, и гадали
О будущем. И ум их видел в нем
Надежды (то, что мы и все видали).
Свеча горела трепетным огнем,
И часто, вспыхнув, луч ее мгновенный
Вдруг обливал и потолок и стены.
В углу переднем фольга образов
Тогда меняла тысячу цветов,
И верба, наклоненная над ними,
Блистала вдруг листами золотыми.

15
Одна из них (красавиц) не вполне
Была прекрасна, но зато другая…
О, мы таких видали лишь во сне,
И то заснув — о небесах мечтая!
Слегка головку приклонив к стене
И устремив на столик взор прилежный,

Она сидела несколько небрежно.
В ответ на речь подруги иногда
Из уст ее пустое «нет» иль «да»
Едва скользило, если предсказанья
Премудрой карты стоили вниманья.

16
Она была затейливо мила,
Как польская затейливая панна;
Но вместе с этим гордый вид чела
Казался ей приличен. Как Сусанна,
Она б на суд неправедный пошла
С лицом холодным и спокойным взором;
Такая смесь не может быть укором.
В том вы должны поверить мне в кредит,
Тем боле что отец ее был жид,
А мать (как помню) полька из-под Праги…
И лжи тут нет, как в том, что мы — варяги.

17
Когда Суворов Прагу осаждал,
Ее отец служил у нас шпионом,
И раз, как он украдкою гулял
В мундире польском вдоль по бастионам,
Неловкий выстрел в лоб ему попал.
И многие, вздохнув, сказали: «Жалкой,
Несчастный жид, — он умер не под палкой!»

Его жена пять месяцев спустя
Произвела на Божий свет дитя,
Хорошенькую Тирзу. Имя это
Дано по воле одного корнета.

18

Под рубищем простым она росла
В невежестве, как травка полевая
Прохожим не замечена, — ни зла,
Ни гордой добродетели не зная.
Но час настал — пора любви пришла.
Какой-то смертный ей сказал два слова:
Она в объятья божества земного
Упала; но увы, прошло дней шесть,
Уж полубог успел ей надоесть;
И с этих пор, чтоб избежать ошибки,
Она дарила всем свои улыбки…

19

Мечты любви умчались, как туман.
Свобода стала ей всего дороже.
Обманом сердце платит за обман
(Я так слыхал, и вы слыхали тоже).
В ее лице характер южных стран
Изображался резко. Не наемный
Огонь горел в очах; без цели, томно,
Покрыты светлой влагой, иногда

Они блуждали, как порой звезда
По небесам блуждает, — и, конечно,
Был это знак тоски немой, сердечной.

20

Безвестная печаль сменялась вдруг
Какою-то веселостью недужной…
(Дай Бог, чтоб всех томил такой недуг!)
Волной вставала грудь, и пламень южный
В ланитах рделся, белый полукруг
Зубов жемчужных быстро открывался;
Головка поднималась, развивался
Душистый локон, и на лик младой
Катился, лоснясь, черною струей;
И ножка, разрезвясь, не зная плена,
Бесстыдно обнажалась до колена.

21

Когда шалунья навзничь на кровать,
Шутя, смеясь, роскошно упадала,
Не спорю, мудрено ее понять, —
Она сама себя не понимала, —
Ей было трудно сердцу приказать,
Как баловню ребенку. Надо было
Кому-нибудь с неведомою силой
Явиться и приветливой душой
Его согреть… Явился ли герой,

Или вотще остался ожидаем,
Все это мы со временем узнаем.

22
Теперь к ее подруге перейдем,
Чтоб выполнить начатую картину.
Они недавно жили тут вдвоем,
Но души их сливались во едину
И мысли их встречалися во всем.
О, если б знали, сколько в этом званье
Сердец отличных, добрых! Но вниманье
Увлечено блистаньем модных дам.
Вздыхая, мы бежим по их следам…
Увы, друзья, а наведите справки,
Вся прелесть их… в кредит из модной лавки!

23
Она была свежа, бела, кругла,
Как снежный шарик; щеки, грудь и шея,
Когда она смеялась или шла,
Дрожали сладострастно; не краснея,
Она на жертву прихоти несла
Свои красы. Широко и неловко
На ней сидела юбка; но плутовка
Поднять умела грудь, открыть плечо,
Ласкать умела буйно, горячо
И, хитро передразнивая чувства,

Слыла царицей своего искусства…

24

Она звалась Варюшею. Но я
Желал бы ей другое дать названье:
Скажу ль, при этом имени, друзья,
В груди моей шипит воспоминанье,
Как под ногой прижатая змея;
И ползает, как та среди развалин,
По жилам сердца. Я тогда печален,
Сердит, — молчу или браню весь дом,
И рад прибить за слово чубуком.
Итак, для избежанья зла, мы нашу
Варюшу здесь перекрестим в Парашу.

25

Увы, минувших лет безумный сон
Со смехом повторить не смеет лира!
Живой водой печали окроплен,
Как труп давно застывшего вампира,
Грозя перстом, поднялся молча он,
И мысль к нему прикована… Ужели
В моей груди изгладить не успели
Столь много лет и столько мук иных —
Волшебный стан и пару глаз больших?
(Хоть, признаюсь вам, разбирая строго,
Получше их видал я после много.)

26

Да, много лет и много горьких мук
С тех пор отяготело надо мною;
Но первого восторга чудный звук
В груди не умирает, — и порою,
Сквозь облако забот, когда недуг
Мой слабый ум томит неугомонно,
Ее глаза мне светят благосклонно.
Так в час ночной, когда гроза шумит
И бродят облака, — звезда горит
В дали эфирной, не боясь их злости,
И шлет свои лучи на землю в гости.

27

Пред нагоревшей сальною свечой
Красавицы, раздумавшись, сидели,
И заставлял их вздрагивать порой
Унылый свист играющей метели.
И как и вам, читатель милый мой,
Им стало скучно… Вот, наместо знака
Условного, залаяла собака,
И у калитки брякнуло кольцо.
Вот чей-то голос… Идут на крыльцо…
Параша потянулась и зевнула
Так, что едва не бухнулась со стула,

А Тирза быстро выбежала вон,
Открылась дверь. В плаще, закидан снегом,
Явился гость… Насмешливый поклон
Отвесил и, как будто долгим бегом
Или волненьем был он утомлен,
Упал на стул… Заботливой рукою
Сняла Параша плащ, потом другою
Стряхнула иней с шелковых кудрей
Пришельца. Видно, нравился он ей…
Все нравится, что молодо, красиво
И в чем мы видим прибыль особливо.

29

Он ловок был, со вкусом был одет,
Изящно был причесан и так дале.
На пальцах перстни изливали свет,
И галстук надушен был, как на бале.
Ему едва ли было двадцать лет,
Но бледностью казалися покрыты
Его чело и нежные ланиты, —
Не знаю, мук ли то последних след,
Но мне давно знаком был этот цвет, —
И на устах его, опасней жала
Змеи, насмешка вечная блуждала.

30

Заметно было в нем, что с ранних дней

В кругу хорошем, то есть в модном свете,
Он обжился, что часть своих ночей
Он убивал бесплодно на паркете
И что другую тратил не умней…
В глазах его открытых, но печальных
Нашли бы вы без наблюдений дальных
Презренье, гордость; хоть он не был горд,
Как глупый турок иль богатый лорд,
Но все-таки себя в числе двуногих
Он почитал умнее очень многих.

31

Борьба рождает гордость. Воевать
С людскими предрассудками труднее,
Чем тигров и медведей поражать
Иль со штыком на вражьей батарее
За белый крестик жизнью рисковать…
Клянусь, иметь великий надо гений,
Чтоб разом сбросить цепь предубеждений,
Как сбросил бы я платье, если б вдруг
Из севера Всевышний сделал юг.
Но ныне нас противное пугает:
Неаполь мерзнет, а Нева не тает.

32

Да кто же этот гость?.. Pardon, сейчас!..
Рассеянность… Monsieur, рекомендую:

Герой мой, друг мой — Сашка!.. Жаль для вас,
Что случай свел в минуту вас такую
И в этом месте… Верьте, я не раз
Ему твердил, что эти посещенья
О нем дадут весьма дурное мненье.
Я говорил, — он слушал, он был весь
Вниманье… Глядь, а вечером уж здесь!..
И я нашел, что мне его исправить
Труднее в прозе, чем в стихах прославить.

33

Герой мой Сашка тихо развязал
Свой галстук… «Сашка» — старое названье!
Но «Сашка» тот печати не видал,
И, недозревший, он угас в изгнанье.
Мой Сашка меж друзей своих не знал
Другого имя, — дурно ль, хорошо ли,
Разуверять друзей не в нашей воле.
Он галстук снял, рассеянно перстом
Провел по лбу, поморщился, потом
Спросил: «Где Тирза?» — «Дома». —
«Что ж не видно
Ее?» — «Уснула». — «Как ей спать не стыдно!»

34

И он поспешно входит в тот покой,
Где часто с Тирзой пламенные ночи

Он проводил… Все полно тишиной
И сумраком волшебным; прямо в очи
Недвижно смотрит месяц золотой
И на стекле в узоры ледяные
Кидает искры, блестки огневые,
И голубым сиянием стена
Игриво и светло озарена.
И он (не месяц, но мой Сашка) слышит,
В углу на ложе кто-то слабо дышит.

35

Он руку протянул, — его рука
Попала в стену; протянул другую —
Ощупал тихо кончик башмачка.
Схватил потом и ножку, но какую?!.
Так миньятюрна, так нежна, мягка
Казалась эта ножка, что невольно
Подумал он, не сделал ли ей больно.
Меж тем рука все далее ползет,
Вот круглая коленочка… и вот,
Вот — для чего смеетесь вы заране? —
Вот очутилась на двойном кургане…

36

Блаженная минута!.. Закипел
Мой Александр, склонившись к деве спящей.
Он поцелуй на грудь напечатлел

И стан ее обвил рукой дрожащей.
В самозабвенье пылком он не смел
Дохнуть… Он думал: «Тирза дорогая!
И жизнию и чувствами играя,
Как ты, я чужд общественных связей, —
Как ты, один с свободою моей,
Не знаю в людях ни врага, ни друга, —
Живу, чтоб жить как ты, моя подруга!

37

Судьба вчера свела случайно нас,
Случайно завтра разведет навечно, —
Не все ль равно, что год, что день, что час,
Лишь только б я провел его беспечно?..»
И не сводил он ярких черных глаз
С своей жидовки и не знал, казалось,
Что резвое созданье притворялось.
Меж тем почла за нужное она
Проснуться и была удивлена,
Как надлежало… (Страх и удивленье
Для женщин в важных случаях спасенье.)

38

И, прежде потерев глаза рукой,
Она спросила: «Кто вы?» — «Я, твой Саша!» —
«Неужто?.. Видишь, баловник какой!
Ступай, давно там ждет тебя Параша!..

Нет, надо разбудить меня… Постой,
Я отомщу». И за руку схватила
Его проворно и… и укусила,
Хоть это был скорее поцелуй.
Да, мерзкий критик, что ты ни толкуй,
А есть уста, которые украдкой
Кусать умеют сладко, очень сладко!..

39

Когда бы Тирзу видел Соломон,
То, верно б, свой престол украсил ею, —
У ног ее и царство, и закон,
И славу позабыл бы… Но не смею
Вас уверять, затем, что не рожден
Владыкой, и не знаю, в низкой доле,
Как люди ценят вещи на престоле;
Но знаю только то, что Сашка мой
За целый мир не отдал бы порой
Ее улыбку, щечки, брови, глазки,
Достойные любой восточной сказки.

40

«Откуда ты?» — «Не спрашивай, мой друг!
Я был на бале!» — «Бал! а что такое?»
«Невежда! это — говор, шум и стук,
Толпа глупцов, веселье городское, —
Наружный блеск, обманчивый недуг;

Кружатся девы, чванятся нарядом,
Притворствуют и голосом и взглядом.
Кто ловит душу, кто пять тысяч душ…
Все так невинны, но я им не муж.
И как ни уважаю добродетель,
А здесь мне лучше, в том луна свидетель».

41

Каким-то новым чувством смущена,
Его слова еврейка поглощала.
Сначала показалась ей смешна
Жизнь городских красавиц, но… сначала.
Потом пришло ей в мысль, что и она
Могла б кружиться ловко пред толпою,
Терзать мужчин надменной красотою,
В высокие смотреться зеркала
И уязвлять, но не желая зла,
Соперниц гордой жалостью, и в свете
Блистать, и ездить четверней в карете.

42

Она прижалась к юноше. Листок
Так жмется к ветке, бурю ожидая.
Стучало сердце в ней, как молоток,
Уста полураскрытые, пылая,
Шептали что-то. С головы до ног
Она горела. Груди молодые

Как персики являлись наливные
Из-под сорочки… Сашкина рука
По ним бродила медленно, слегка…
Но… есть во мне к стыдливости вниманье —
И целый час я пропущу в молчанье.

43

Все было тихо в доме. Облака
Нескромный месяц дымкою одели,
И только раздавались изредка
Сверчка ночного жалобные трели;
И мышь в тени родного уголка
Скреблась в обои старые прилежно.
Моя чета, раскинувшись небрежно,
Покоилась, не думая о том,
Что небеса грозили близким днем,
Что ночь… Вы на веку своем едва ли
Таких ночей десяток насчитали…

44

Но Тирза вдруг молчанье прервала
И молвила: «Послушай, прочь все шутки!
Какая мысль мне странная пришла:
Что если б ты, откинув предрассудки
(Она его тут крепко обняла),
Что если б ты, мой милый, мой бесценный,
Хотел меня утешить совершенно,

То завтра или даже в день иной
Меня в театр повез бы ты с собой.
Известно мне, все для тебя возможно,
А отказать в безделице безбожно».

45
«Пожалуй!» — отвечал ей Саша. Он
Из слов ее расслушал половину, —
Его клонил к подушке сладкий сон,
Как птица клонит слабую тростину.
Блажен, кто может спать! Я был рожден
С бессонницей. В теченье долгой ночи,
Бывало, беспокойно бродят очи
И жжет подушка влажное чело.
Душа грустит о том, что уж прошло,
Блуждая в мире вымысла без пищи,
Как лазарони или русский нищий…

46
И жадный червь ее грызет, грызет, —
Я думаю, тот самый, что когда-то
Терзал Саула; но порой и тот
Имел отраду: арфы звук крылатый,
Как ангела таинственный полет,
В нем воскрешал и слезы и надежды;
И опускались пламенные вежды,
С гармонией сливалася мечта,

И злобный дух бежал, как от креста.
Но этих звуков нет уж в поднебесной, —
Они исчезли с арфою чудесной…

47

И все исчезнет. Верить я готов,
Что наш безлучный мир — лишь прах могильный
Другого, — горсть земли, в борьбе веков
Случайно уцелевшая, рукою сильной
Заброшенная в вечный круг миров.
Светилы ей двоюродные братья,
Хоть носят шлейфы огненного платья
И по сродству имеют в добрый час
Влиянье благотворное на нас…
А дай сойтись, так заварится каша, —
В кулачки, и… прощай планета наша.

48

И пусть они блестят до той поры,
Как ангелов вечерние лампады.
Придет конец воздушной их игры,
Печальная разгадка сей шарады…
Любил я с колокольни иль с горы,
Когда земля молчит и небо чисто,
Теряться взором в их цепи огнистой, —
И мнится, что меж ними и землей

Есть путь, давно измеренный душой, —
И мнится, будто на главу поэта
Стремятся вместе все лучи их света.

49

Итак, герой наш спит, приятный сон,
Покойна ночь, а вы, читатель милый,
Пожалуйте, — иначе принужден
Я буду удержать вас силой…
Роман, вперед!.. Не и́дет? Ну, так он
Пойдет назад. Герой наш спит покуда,
Хочу я рассказать, кто он, откуда,
Кто мать его была, и кто отец,
Как он на свет родился, наконец
Как он попал в позорную обитель,
Кто был его лакей и кто учитель.

50

Его отец — симбирский дворянин,
Иван Ильич N., муж дородный,
Богатого отца любимый сын.
Был сам богат; имел он ум природный
И, что ума полезней, важный чин;
С четырнадцати лет служил и с миром
Уволен был в отставку бригадиром;
А бригадир блаженных тех времен
Был человек и, следственно, умен.

Иван Ильич наш слыл по крайней мере
Любезником в своей симбирской сфере.

51
Он был врагом писателей и книг,
В делах судебных почерпнул познанья.
Спал очень долго, ел за четверых;
Ни на кого не обращал вниманья
И не носил приличия вериг.
Однако же пред знатью горделивой
Умел он гнуться скромно и учтиво.
Но в этот век учтивости закон
Для исполненья требовал поклон;
А кланяться закону иль вельможе
Считалося тогда одно и то же.

52
Он старших уважал, зато и сам
Почтительность вознаграждал улыбкой,
И, ревностный хотя угодник дам,
Женился, по словам его, ошибкой.
В чем он ошибся, не могу я вам
Открыть, а знаю только (не соврать бы),
Что был он грустен на другой день свадьбы
И что печаль его была одна
Из тех, какими жизнь мужей полна.
По мне они большие эгоисты —

Всё жен винят, как будто сами чисты.

53
Благодари меня, о женский пол!
Я — Демосфен твой: за твою свободу
Я рад шуметь; я непомерно зол
На всю, на всю рогатую породу!
Кто власть им дал?.. Восстаньте, — час пришел!
Я поднимаю знамя возмущенья.
Ура! Сюда все девы! Прочь терпенье!
Конец всему есть! Беззаботно, явно
Идите вслед за Марьей Николавной!
Понять меня, я знаю, вам легко,
Ведь в ваших жилах — кровь, не молоко,
И вы краснеть умеете уж кстати
От взоров и намеков нашей братьи.

54
Иван Ильич стерег жену свою
По старому обычаю. Без лести
Сказать, он вел себя, как я люблю,
По правилам тогдашней старой чести.
Проказница ж жена (не утаю)
Читать любила жалкие романы
Или смотреть на светлый шар Дианы,
В беседке темной сидя до утра.
А месяц и романы до добра

Не доведут, — от них мечты родятся…
А искушенью только бы добраться!

55

Она была прелакомый кусок
И многих дум и взоров стала целью.
Как быть: пчела садится на цветок,
А не на камень; чувствам и веселью
Казенных не назначено дорог.
На брачном ложе Марья Николавна
Была, как надо, ласкова, исправна.
Но говорят (хоть, может быть, и лгут),
Что долг супруги — только лишний труд.
Мужья у жен подобных (не в обиду
Будь сказано), как вывеска, для виду.

56

Иван Ильич имел в Симбирске дом
На самой на горе, против собора.
При мне давно никто уж не жил в нем,
И он дряхлел, заброшен без надзора,
Как инвалид, с георгьевским крестом.
Но некогда, с кудрявыми главами,
Вдоль стен колонны высились рядами.
Прозрачною решеткой окружен,
Как клетка, между них висел балкон,
И над дверьми стеклянными в порядке

Виднелися гардин прозрачных складки.

57
Внутри все было пышно; на столах
Пестрели разноцветные клеенки,
И люстры отражались в зеркалах,
Как звезды в луже; моськи и болонки
Встречали шумно каждого в дверях,
Одна другой несноснее, а дале
Зеленый попугай, порхая в зале,
Кричал бесстыдно: «Кто пришел?.. Дурак!»
А гость с улыбкой думал: «Как не так!»
И, ласково хозяйкой принимаем,
Чрез пять минут мирился с попугаем.

58
Из окон был прекрасный вид кругом:
Налево, то есть к западу, рядами
Блистали кровли, трубы и потом
Меж ними церковь с круглыми главами,
И кое-где в тени — отрада днем —
Уютный сад, обсаженный рябиной,
С беседкою, цветами и малиной,
Как детская игрушка, если вам
Угодно, или как меж знатных дам
Румяная крестьянка — дочь природы,
Испуганная блеском гордой моды.

59
Под глинистой утесистой горой,
Унизанной лачужками, направо,
Катилася широкой пеленой
Родная Волга, ровно, величаво…
У пристани двойною чередой
Плоты и барки, как табун, теснились,
И флюгера на длинных мачтах бились,
Жужжа на ветре, и скрипел канат
Натянутый; и, серой мглой объят,
Виднелся дальний берег, и белели
Вкруг острова края песчаной мели.

60
Нестройный говор грубых голосов
Между судов перебегал порою;
Смех, песни, брань, протяжный крик пловцов
—
Все в гул один сливалось над водою.
И Марья Николавна, хоть суров
Казался ветр и день был на закате,
Накинув шаль или капот на вате,
С французской книжкой, часто, сев к окну,
Следила взором сизую волну,
Прибрежных струй приливы и отливы,
Их мерный бег, их золотые гривы.

61
Два года жил Иван Ильич с женой,
И всё не тесны были ей корсеты.
Ее ль сложенье было в том виной,
Или его немолодые леты?..
Не мне в делах семейных быть судьей!
Иван Ильич иметь желал бы сына
Законного: хоть правом дворянина
Он пользовался часто, но детей,
Вне брака прижитых, злодей,
Раскидывал по свету, где случится,
Страшась с своей деревней породниться.

62
Какая сладость в мысли: я отец!
И в той же мысли сколько муки тайной —
Оставить в мире след и, наконец,
Исчезнуть! Быть злодеем, и случайно, —
Злодеем потому, что жизнь — венец
Терновый, тяжкий, — так по крайней мере
Должны мы рассуждать по нашей вере…
К чему, куда ведет нас жизнь, о том
Не с нашим бедным толковать умом;
Но исключая два-три дня да детство,
Она бесспорно скверное наследство.

63

Бывало, этой думой удручен,
Я прежде много плакал, и слезами
Я жег бумагу. Детский глупый сон
Прошел давно, как туча над степями;
Но пылкий дух мой не был освежен,
В нем родилися бури, как в пустыне,
Но скоро улеглись они, и ныне
Осталось сердцу, вместо слез, бурь тех,
Один лишь отзыв — звучный, горький смех…
Там, где весной белел поток игривый,
Лежат кремни — и блещут, но не живы!

64

Прилично б было мне молчать о том,
Но я привык идти против приличий
И, говоря всеобщим языком,
Не жду похвал. Поэт породы птичей,
Любовник роз, над розовым кустом
Урчит и свищет меж листов душистых.
Об чем? Какая цель тех звуков чистых?
Прошу хоть раз спросить у соловья.
Он вам ответит песнью… Так и я
Пишу, что мыслю, мыслю, что придется,
И потому мой стих так плавно льется.

65

Прошло два года. Третий год

Обрадовал супругов безнадежных:
Желанный сын, любви взаимной плод,
Предмет забот мучительных и нежных,
У них родился. В доме весь народ
Был восхищен, и три дня были пьяны
Все на подбор, от кучера до няни.
А между тем печально у ворот
Всю ночь собаки выли напролет,
И, что страшнее этого, ребенок
Весь в волосах был, точно медвежонок.

66

Старухи говорили: это знак,
Который много счастья обещает.
И про меня сказали точно так,
А правда ль это вышло? — небо знает!
К тому ж полночный вой собак
И страшный шум на чердаке высоком —
Приметы злые; но не быв пророком,
Я только покачаю головой.
Гамлет сказал: «Есть тайны под луной
И для премудрых», — как же мне, поэту,
Не верить можно тайнам и Гамлету?..

67

Младенец рос милее с каждым днем:
Живые глазки, белые ручонки

И русый волос, вьющийся кольцом, —
Пленяли всех знакомых; уж пеленки
Рубашечкой сменилися на нем;
И, первые проказы начиная,
Уж он дразнил собак и попугая…
Года неслись, а Саша рос, и в пять
Добро и зло он начал понимать;
Но, верно, по врожденному влеченью,
Имел большую склонность к разрушенью.

68

Он рос… Отец его бранил и сек —
Затем, что сам был с детства часто сечен,
А слава Богу вышел человек:
Не стыд семьи, не туп, не изувечен.
Понятья были низки в старый век…
Но Саша с гордой был рожден душою
И желчного сложенья, — пред судьбою,
Перед бичом язвительной молвы
Он не склонял и после головы.
Умел он помнить, кто его обидел,
И потому отца возненавидел.

69

Великий грех!.. Но чем теплее кровь,
Тем раньше зреют в сердце беспокойном
Все чувства — злоба, гордость и любовь,

Как дерева под небом юга знойным.
Шалун мой хмурил маленькую бровь,
Встречаясь с нежным папенькой; от взгляда
Он вздрагивал, как будто б капля яда
Лилась по жилам. Это, может быть,
Смешно, — что ж делать! — он не мог любить,
Как любят все гостиные собачки
За лакомства, побои и подачки.

70

Он был дитя, когда в тесовый гроб
Его родную с пеньем уложили.
Он помнил, что над нею черный поп
Читал большую книгу, что кадили.
И прочее… и что, закрыв весь лоб
Большим платком, отец стоял в молчанье.
И что когда последнее лобзанье
Ему велели матери отдать,
То стал он громко плакать и кричать,
И что отец, немного с ним поспоря,
Велел его посечь… (конечно, с горя).

71

Он не имел ни брата, ни сестры,
И тайных мук его никто не ведал.
До времени отвыкнув от игры,
Он жадному сомненью сердце предал

И, презрев детства милые дары,
Он начал думать, строить мир воздушный
И в нем терялся мыслию послушной.
Таков средь океана островок:
Пусть хоть прекрасен, свеж, но одинок;
Ладьи к нему с гостями не пристанут,
Цветы на нем от зноя все увянут…

72

Он был рожден под гибельной звездой,
С желаньями безбрежными, как вечность.
Они так часто спорили с душой
И отравили лучших дней беспечность.
Они летали над его главой,
Как царская корона; но без власти
Венец казался бременем, и страсти,
Впервые пробудясь, живым огнем
Прожгли алтарь свой, не найдя кругом
Достойной жертвы, — и в пустыне света
На дружний зов не встретил он ответа.

73

О, если б мог он, как бесплотный дух,
В вечерний час сливаться с облаками,
Склонять к волнам кипучим жадный слух,
И долго упиваться их речами,
И обнимать их перси, как супруг!

В глуши степей дышать со всей природой
Одним дыханьем, жить ее свободой!
О, если б мог он, в молнию одет,
Одним ударом весь разрушить свет!..
(Но, к счастию для вас, читатель милый,
Он не был одарен подобной силой.)

74

Я не берусь вполне, как психолог,
Характер Саши выставить наружу
И вскрыть его, как с трюфлями пирог.
Скорей судей молчаньем я принужу
К решению… Пусть суд их будет строг!
Пусть журналист всеведущий хлопочет,
Зачем тот плачет, а другой хохочет!..
Пусть скажет он, что бесом одержим
Был Саша, — я и тут согласен с ним,
Хотя, божусь, приятель мой, повеса,
Взбесил бы иногда любого беса.

75

Его учитель чистый был француз,
Marquis de Tess[11]. Педант полузабавный,
Имел он длинный нос и тонкий вкус
И потому брал деньги преисправно.
Покорный раб губернских дам и муз,
Он сочинял сонеты, хоть порою

По часу бился с рифмою одною;
Но каламбуров полный лексикон,
Как талисман, носил в карманах он
И, быв уверен в дамской благодати,
Не размышлял, что́ кстати, что́ не кстати.

76

Его отец богатый был маркиз,
Но жертвой стал народного волненья:
На фонаре однажды он повис,
Как было в моде, вместо украшенья.
Приятель наш, парижский Адонис,
Оставив прах родителя судьбине,
Не поклонился гордой гильотине:
Он молча проклял вольность и народ,
И натощак отправился в поход,
И, наконец, едва живой от муки,
Пришел в Россию поощрять науки.

77

И Саша мой любил его рассказ
Про сборища народные, про шумный
Напор страстей и про последний час
Венчанного страдальца… Над безумной
Парижскою толпою много раз
Носилося его воображенье:
Там слышал он святых голов паденье,

Меж тем как нищих буйный миллион
Кричал, смеясь: «Да здравствует закон!» —
И, в недостатке хлеба или злата,
Просил одной лишь крови у Марата.

78
Там видел он высокий эшафот;
Прелестная на звучные ступени
Всходила женщина… Следы забот,
Следы живых, но тайных угрызений
Виднелись на лице ее. Народ
Рукоплескал… Вот кудри золотые
Посыпались на плечи молодые;
Вот голова, носившая венец,
Склонилася на плаху… О, Творец!
Одумайтесь! Еще момент, злодеи!..
И голова оторвана от шеи…

79
И кровь с тех пор рекою потекла,
И загремела жадная секира…
И ты, поэт, высокого чела
Не уберег! Твоя живая лира
Напрасно по вселенной разнесла
Все, все, что ты считал своей душою, —
Слова, мечты с надеждой и тоскою…
Напрасно!.. Ты прошел кровавый путь,

Не отомстив, и творческую грудь
Ни стих язвительный, ни смех холодный
Не посетил — и ты погиб бесплодно…

80

И Франция упала за тобой
К ногам убийц бездушных и ничтожных.
Никто не смел возвысить голос свой;
Из мрака мыслей гибельных и ложных
Никто не вышел с твердою душой, —
Меж тем как втайне взор Наполеона
Уж зрел ступени будущего трона…
Я в этом тоне мог бы продолжать,
Но истина — не в моде, а писать
О том, что было двести раз в газетах,
Смешно, тем боле об таких предметах.

81

К тому же я совсем не моралист, —
Ни блага в зле, ни зла в добре не вижу,
Я палачу не дам похвальный лист,
Но клеветой героя не унижу, —
Ни плеск восторга, ни насмешки свист
Не созданы для мертвых. Царь иль воин,
Хоть он отличья иногда достоин,
Но, верно, нам за тяжкий мавзолей
Не благодарен в комнатке своей

И, длинным одам внемля поневоле,
Зевая вспоминает о престоле.

82

Я прикажу, кончая дни мои,
Отнесть свой труп в пустыню и высокий
Курган над ним насыпать, и — любви
Символ ненарушимый — одинокий
Поставить крест: быть может, издали,
Когда туман протянется в долине
Иль свод небес взбунтуется, к вершине
Гостеприимной нищий пешеход,
Его заметив, медленно придет,
И, отряхнувши посох, безнадежней
Вздохнет о жизни будущей и прежней —

83

И проклянет, склонясь на крест святой,
Людей и небо, время и природу, —
И проклянет грозы бессильный вой
И пылких мыслей тщетную свободу…
Но нет, к чему мне слушать плач людской?
На что мне черный крест, курган, гробница?
Пусть отдадут меня стихиям! Птица,
И зверь, огонь, и ветер, и земля
Разделят прах мой, и душа моя
С душой вселенной, как эфир с эфиром,

Сольется и развеется над миром!..

84
Пускай от сердца, полного тоской
И желчью тайных тщетных сожалений,
Подобно чаше, ядом налитой,
Следов не остается… Без волнений
Я выпил яд по капле, ни одной
Не уронил; но люди не видали
В лице моем ни страха, ни печали
И говорили хладно: он привык.
И с той поры я облил свой язык
Тем самым ядом и по праву мести
Стал унижать толпу под видом лести…

85
Но кончим этот скучный эпизод
И обратимся к нашему герою.
До этих пор он не имел забот
Житейских и невинною душою
Искал страстей, как пищи. Длинный год
Провел он средь тетрадей, книг, историй,
Грамматик, географий и теорий
Всех философий мира. Пять систем
Имел маркиз, а на вопрос: зачем? —
Он отвечал вам гордо и свободно:
«Monsieur, c’est mon affaire»[12] — так мне угод-

но!

86
Но Саша не внимал его словам, —
Рассеянно в тетради над строками
Его рука чертила здесь и там
Какой-то женский профиль, и очами,
Горящими подобно двум звездам,
Он долго на него взирал и нежно
Вздыхал и хоронил его прилежно
Между листов, как тайный милый клад,
Залог надежд и будущих наград,
Как прячут иногда сухую травку,
Перо, записку, ленту иль булавку…

87
Но кто ж она? Что пользы ей вскружить
Неопытную голову, впервые
Сердечный мир дыханьем возмутить
И взволновать надежды огневые?
К чему?.. Он слишком молод, чтоб любить,
Со всем искусством древнего Фоблаза.
Его любовь, как снег вершин Кавказа,
Чиста, — тепла, как небо южных стран…
Ему ль платить обманом за обман?..
Но кто ж она? Не модная вертушка,
А просто дочь буфетчика, Маврушка…

88
И Саша был четырнадцати лет.
Он привыкал (скажу вам под секретом,
Хоть важности большой во всем том нет)
Толкаться меж служанок. Часто летом,
Когда луна бросала томный свет
На тихий сад, на свод густых акаций,
И с шепотом толпа домашних граций
В аллее кралась, — легкою стопой
Он догонял их; и, шутя, порой
Его невинность (вы поймете сами)
Они дразнили дерзкими перстами.

89
Но между них он отличал одну:
В ней было все, что увлекает душу,
Волнует мысли и мешает сну.
Но я, друзья, покой ваш не нарушу
И на портрет накину пелену.
Ее любил мой Саша той любовью,
Которая по жилам с юной кровью
Течет огнем, клокочет и кипит.
Боролись в нем желание и стыд;
Он долго думал, как в любви открыться, —
Но надобно ж на что-нибудь решиться.

90

И мудрено ль? Четырнадцати лет
Я сам страдал от каждой женской рожи
И простодушно уверял весь свет,
Что друг на дружку все они похожи.
Волнующихся персей нежный цвет
И алых уст горячее дыханье
Во мне рождали чудные желанья;
Я трепетал, когда моя рука
Атласных плеч касалася слегка,
Но лишь в мечтах я видел без покрова
Все, что для вас, конечно, уж не ново…

91

Он потерял и сон и аппетит,
Молчал весь день и бредил в ночь, бывало,
По коридору бродит и грустит,
И ждет, чтоб платье мимо прожужжало,
Чтоб ясный взор мелькнул… Суровый вид
Приняв, он иногда улыбкой хладной
Ответствовал на взор ее отрадный…
Любовь же неизбежна, как судьба,
А с сердцем страх невыгодна борьба!
Итак, мой Саша кончил с ним возиться
И положил с Маврушей объясниться.

92

Случилось это летом, в знойный день.

По мостовой широкими клубами
Вилася пыль. От труб высоких тень
Ложилася на крышах полосами,
И пар с камней струился. Сон и лень
Вполне Симбирском овладели; даже
Катилась Волга медленней и глаже.
В саду, в беседке темной и сырой,
Лежал полураздетый наш герой
И размышлял о тайне съединенья
Двух душ — предмет достойный размышленья.

93

Вдруг слышит он направо, за кустом
Сирени, шорох платья и дыханье
Волнующейся груди, и потом
Чуть внятный звук, похожий на лобзанье.
Как Саше быть? Забилось сердце в нем,
Запрыгало… Без дальних опасений
Он сквозь кусты пустился легче тени.
Трещат и гнутся ветви под рукой.
И вдруг пред ним, с Маврушкой молодой
Обнявшися в тени цветущей вишни,
Иван Ильич… (Прости ему Всевышний!)

94

Увы! покоясь на траве густой,
Проказник старый обнимал бесстыдно

Упругий стан под юбкою простой
И не жалел ни ножки миловидной,
Ни круглых персей, дышащих весной!
И долго, долго бился, но напрасно!
Огня и сил лишен уж был несчастный.
Он встал, вздохнул (нельзя же не вздохнуть),
Поправил брюхо и пустился в путь,
Оставив тут обманутую деву,
Как Ариадну, преданную гневу.

95

И есть за что, не спорю… Между тем
Что делал Саша? С неподвижным взглядом,
Как белый мрамор холоден и нем,
Как Аббадона грозный, новым адом
Испуганный, но помнящий эдем,
С поникшею стоял он головою,
И на челе, наморщенном тоскою,
Качались тени трепетных ветвей…
Но вдруг удар проснувшихся страстей
Перевернул неопытную душу,
И он упал как с неба на Маврушу.

96

Упал! (Прости невинность!) Как змея,
Маврушу крепко обнял он руками,
То холодея, то как жар горя,

Неистово впился в нее устами
И — обезумел… Небо и земля
Слились в туман. Мавруша простонала
И улыбнулась; как волна, вставала
И упадала грудь, и томный взор,
Как над рекой безлучный метеор,
Блуждал вокруг без цели, без предмета,
Боясь всего: людей, дерев, а больше — света…

97

Теперь, друзья, скажите напрямик,
Кого винить?.. По мне всего прекрасней
Сложить весь грех на черта, — он привык
К напраслине; к тому же безопасней
Рога и когти, чем иной язык…
Итак, заметим мы, что дух незримый,
Но гордый, мрачный, злой, неотразимый
Ни ладаном, ни бранью, ни крестом,
Играл судьбою Саши, как мячом,
И, следуя пустейшему капризу,
Кидал его то вкось, то вверх, то книзу.

98

Два месяца прошло. Во тьме ночной,
На цыпочках по лестнице ступая,
В чепце, платок накинув шерстяной,
Являлась к Саше дева молодая;

Задув лампаду, трепетной рукой
Держась за спинку шаткую кровати,
Она искала жарких там объятий.
Потом, на мягкий пух привлечена,
Под одеяло пряталась она;
Тяжелый вздох из груди вырывался,
И в жарких поцелуях он сливался.

99

Казалось, рок забыл о них. Но раз
(Не помню я, в который день недели), —
Уж пролетел давно свиданья час,
А Саша все один был на постели.
Он сел к окну в раздумье. Тихо гас
На бледном своде месяц серебристый,
И неподвижно бахромой волнистой
Вокруг его висели облака.
Дремало все, лишь в окнах изредка
Являлась свечка, силуэт рубчатый
Старухи, из картин Рембрандта взятый,

100

Мелькая, рисовался на стекле
И исчезал. На площади пустынной,
Как чудный путь к неведомой земле,
Лежала тень от колокольни длинной,
И даль сливалась в синеватой мгле.

Задумчив Саша… Вдруг скрипнули двери,
И вы б сказали — поступь райской пери
Послышалась. Невольно наш герой
Вздрогнул. Пред ним, озарена луной,
Стояла дева, опустивши очи,
Бледнее той луны — царицы ночи…

101
И он узнал Маврушу. Но —Творец! —
Как изменилось нежное созданье!
Казалось, тело изваял резец,
А Бог вдохнул не душу, но страданье.
Она стоит, вздыхает, наконец
Подходит и холодными руками
Хватает руку Саши, и устами
Прижалась к ней, и слезы потекли
Все больше, больше и, казалось, жгли
Ее лицо… Но кто не зрел картины
Раскаянья преступной Магдалины?

102
И кто бы смел изобразить в словах,
Что дышит жизнью в красках Гвидо-Рени?
Гляжу на дивный холст: душа в очах,
И мысль одна в душе, — и на колени
Готов упасть, и непонятный страх,
Как струны лютни, потрясает жилы;

И слышишь близость чудной тайной силы,
Которой в мире верует лишь тот,
Кто как в гробу в душе своей живет,
Кто терпит все упреки, все печали,
Чтоб гением глупцы его назвали.

103
И долго молча плакала она.
Рассыпавшись на кругленькие плечи,
Ее власы бежали, как волна.
Лишь иногда отрывистые речи,
Отзыв того, чем грудь была полна,
Блуждали на губах ее; но звуки
Яснее были слов… И голос муки
Мой Саша понял, как язык родной;
К себе на грудь привлек ее рукой
И не щадил ни нежностей, ни ласки,
Чтоб поскорей добраться до развязки.

104
Он говорил: «К чему печаль твоя?
Ты молода, любима, — где ж страданье?
В твоих глазах — мой мир, вся жизнь моя,
И рай земной в одном твоем лобзанье…
Быть может, злобу хитрую тая,
Какой-нибудь… Но нет! И кто же смеет
Тебя обидеть? Мой отец дряхлеет,

Француз давно не годен никуда…
Ну, полно! слезы прочь, и ляг сюда!»
Мавруша, крепко Сашу обнимая,
Так отвечала, медленно вздыхая:

105
«Послушайте, я здесь в последний раз.
Пренебрегла опасность, наказанье,
Стыд, совесть — все, чтоб только видеть вас,
Поцеловать вам руки на прощанье
И выманить слезу из ваших глаз.
Не отвергайте бедную, — довольно
Уж я терплю, — но что же?.. Сердце вольно…
Иван Ильич проведал от людей
Завистливых… Все Ванька ваш, злодей, —
Через него я гибну… Все готово!
Молю!.. о, киньте мне хоть взгляд, хоть слово!

106
Для вашего отца впервые я
Забыла стыд, — где у рабы защита?
Грозил он ссылкой, Бог ему судья!
Прошла неделя, — бедная забыта…
А все любить другого ей нельзя.
Вчера меня обидными словами
Он разбранил… Но что же перед вами?
Раба? игрушка!.. Точно: день, два, три

Мила, а там? — пожалуй, хоть умри!..»
Тут начались слезы, восклицанья,
Но Саша их оставил без вниманья.

107
«Ах, барин, барин! Вижу я, понять
Не хочешь ты тоски моей сердечной!..
Прощай, — тебя мне больше не видать,
Зато уж помнить буду вечно, вечно…
Виновны оба, мне ж должно страдать.
Но, так и быть, целуй меня в грудь, в очи, —
Целуй, где хочешь, для последней ночи!..
Чем свет меня в кибитке увезут
На дальний хутор, где Маврушу ждут
Страданья и мужик с косматой бородою…
А ты? — вздохнешь и слюбишься с другою!»

108
Она заплакала. Так или нет
Изгнанница младая говорила,
Я утверждать не смею; двух, трех лет
Достаточна губительная сила,
Чтобы святейших слов загладить след.
А тот, кто рассказал мне повесть эту, —
Его уж нет… Но что за нужда свету?
Не веры я ищу, — я не пророк,
Хоть и стремлюсь душою на Восток,

Где свиньи и вино так ныне редки
И где, как пишут, жили наши предки!

109
Она замолкла, но не Саша: он
Кипел против отца негодованьем:
«Злодей! тиран!» — и тысячу имен,
Таких же милых, с истинным вниманьем,
Он расточал ему. Но счастья сон,
Как ни бранись, умчался невозвратно…
Уже готов был юноша развратный
В последний раз на ложе пуховом
Вкусить восторг, в забытии немом
Уж и она, пылая в расслабленье,
Раскинулась, как вдруг — о, провиденье! —

110
Удар ногою с треском растворил
Стеклянной двери обе половины,
И ночника луч бледный озарил
Живой скелет вошедшего мужчины.
Казалось, в страхе с ложа он вскочил, —
Растрепан, босиком, в одной рубашке, —
Вошел и строго обратился к Сашке:
«Eh bien, monsieur, que vois-je?» —
«Ah, c’est vous!»
«Pourquoi ce bruit? Que faites-vous donc?» —

«Je f <…>!»[13]
И, молвив так (пускай простит мне муза),
Одним тузом он выгнал вон француза.

111

И вслед за ним, как лань кавказских гор,
Из комнаты пустилася бедняжка,
Не распростясь, но кинув нежный взор,
Закрыв лицо руками… Долго Сашка
Не мог унять волненье сердца. «Вздор, —
Шептал он, — вздор: любовь не жизнь!» Но утро,
Подернув тучки блеском перламутра,
Уж начало заглядывать в окно,
Как милый гость, ожиданный давно,
А на дворе, унылый и докучный,
Раздался колокольчик однозвучный.

112

К окну с волненьем Сашка подбежал:
Разгонных тройка у крыльца большого.
Вот сел ямщик и вожжи подобрал;
Вот чей-то голос: «Что же, все готово?» —
«Готово». Вот садится… Он узнал:
Она!.. В чепце, платком окутав шею,
С обычною улыбкою своею,
Ему кивнула тихо головой

И спряталась в кибитку. Бич лихой
Взвился. «Пошел!»… Колесы застучали…
И вмиг… Но что нам до чужой печали?

113
Давно ль?.. Но детство Саши протекло.
Я рассказал, что знать вам было нужно…
Он стал с отцом браниться: не могло
И быть иначе, — нежностью наружной
Обманывать он почитал за зло,
За низость, — но правдивой мести знаки
Он не щадил (хотя б дошло до драки).
И потому родитель, рассчитав,
Что укрощать не стоит этот нрав,
Сынка, рыдая, как мы все умеем,
Послал в Москву с французом и лакеем.

114
И там проказник был препоручен
Старухе тетке самых строгих правил.
Свет утверждал, что резвый Купидон
Ее краснеть ни разу не заставил.
Она была одна из тех княжен,
Которые, страшась святого брака,
Не смеют дать решительного знака
И потому в сомненье ждут да ждут,
Покуда их на вист не позовут,

Потом остаток жизни, как умеют, —
За картами клевещут и желтеют.

115
Но иногда какой-нибудь лакей,
Усердный, честный, верный, осторожный,
Имея вход к владычице своей
Во всякий час, с покорностью возможной,
В уютной спальне заменяет ей
Служанку, то есть греет одеяло,
Подушки, ноги, руки… Разве мало
Под мраком ночи делается дел,
Которых знать и черт бы не хотел,
И если бы хоть раз он был свидетель,
Как сладко спит седая добродетель.

116
Шалун был отдан в модный пансион,
Где много приобрел прекрасных правил.
Сначала пристрастился к книгам он,
Но скоро их с презрением оставил.
Он увидал, что дружба, как поклон —
Двусмысленная вещь; что добрый малый —
Товарищ скучный, тягостный и вялый;
Чуть умный — и забавен и сносней,
Чем тысяча услужливых друзей.
И потому (считая только явных)

Он нажил в месяц сто врагов забавных.

117
И снимок их, как памятник святой,
На двух листах, раскрашенный отлично,
Носил всегда он в книжке записной,
Обернутой атласом, как прилично,
С стальным замком и розовой каймой.
Любил он заговоры злобы тайной
Расстроить словом, будто бы случайно;
Любил врагов внезапно удивлять,
На крик и брань — насмешкой отвечать,
Иль, притворясь рассеянным невеждой,
Ласкать их долго тщетною надеждой.

118
Из пансиона скоро вышел он,
Наскуча все твердить азы да буки,
И, наконец, в студенты посвящен,
Вступил надменно в светлый храм науки.
Святое место! помню я, как сон,
Твои кафедры, залы, коридоры,
Твоих сынов заносчивые споры:
О Боге, о вселенной и о том,
Как пить: ром с чаем или голый ром;
Их гордый вид пред гордыми властями,
Их сюртуки, висящие клочками.

119
Бывало, только восемь бьет часов,
По мостовой валит народ ученый.
Кто ночь провел с лампадой средь трудов,
Кто в грязной луже, Вакхом упоенный;
Но все равно задумчивы, без слов
Текут… Пришли, шумят… Профессор длинный
Напрасно входит, кланяется чинно, —
Он книгу взял, раскрыл, прочел… шумят;
Уходит, — втрое хуже. Сущий ад!..
По сердцу Сашке жизнь была такая,
И этот ад считал он лучше рая.

120
Пропустим года два… Я не хочу
В один прием свою закончить повесть.
Читатель знает, что я с ним шучу,
И потому моя спокойна совесть,
Хоть, признаюся, много пропущу
Событий важных, новых и чудесных.
Но час придет, когда, в пределах тесных
Не заключен и не спеша вперед,
Чтоб сократить унылый эпизод,
Я снова обращу вниманье ваше
На те года, потраченные Сашей…

121

Теперь героев разбудить пора,
Пора привесть в порядок их одежды.
Вы вспомните, как сладостно вчера
В объятьях неги и живой надежды
Уснула Тирза? Резвый бег пера
Я не могу удерживать серьезно,
И потому она проснулась поздно…
Растрепанные волосы назад
Рукой откинув и на свой наряд
Взглянув с улыбкой сонною, сначала
Она довольно долго позевала.

122
На ней измято было всё, и грудь
Хранила знаки пламенных лобзаний.
Она спешит лицо водой сплеснуть
И кудри без особенных стараний
На голове гребенкою заткнуть;
Потом сорочку скинула, небрежно
Водою обмывает стан свой нежный…
Опять свежа, как персик молодой.
И на плеча капот накинув свой,
Пленительна бесстыдной наготою,
Она подходит к нашему герою,

123
Садится в изголовье и потом

На сонного студеной влагой плещет.
Он поднялся, кидает взор кругом
И видит, что пора: светелка блещет,
Озарена роскошным зимним днем;
Замерзших окон стекла серебрятся;
В лучах пылинки светлые вертятся;
Упругий снег на улице хрустит,
Под тяжестью полозьев и копыт,
И в городе (что мне всегда досадно)
Колокола трезвонят беспощадно…

124
Прелестный день! Как пышен Божий свет!
Как небеса лазурны!.. Торопливо
Вскочил мой Саша. Вот уж он одет,
Атласный галстук повязал лениво,
С кудрей ночных восторгов сгладил след;
Лишь синеватый венчик под глазами
Изобличал его… Но (между нами,
Сказать тихонько) это не порок.
У наших дам найти я то же б мог,
Хоть между тем ручаюсь головою,
Что их невинней нету под луною.

125
Из комнаты выходит наш герой,
И, пробираясь длинным коридором,

Он видит Катерину пред собой,
Приветствует ее холодным взором —
И мимо. Вот он в комнате другой:
Вот стул с дрожащей ножкою и рядом
Кровать; на ней, закрыта, кверху задом
Храпит Параша, отвернув лицо.
Он плащ надел и вышел на крыльцо,
И вслед за ним несутся восклицанья,
Чтобы не смел забыть он обещанья:

126
Чтоб приготовил модный он наряд
Для бедной, милой Тирзы и так дале.
Сказать ли, этой выдумке был рад
Проказник мой: в театре, в пестрой зале
Заметят ли невинный маскарад?
Зачем еврейку не утешить тайно,
Зачем толпу не наказать случайно
Презреньем гордым всех ее причуд?
И что молва? Глупцов крикливый суд,
Коварный шепот злой старухи или
Два-три намека в польском иль в кадрили!

127
Уж Саша дома. К тетке входит он,
Небрежно у нее целует руку.
«Чем кончился вчерашний ваш бостон?

Я б не решился на такую скуку,
Хотя бы мне давали миллион.
Как ваши зубы?.. А Фиделька где же?
Она являться стала что-то реже.
Ей надоел наш модный круг, — увы,
Какая жалость!.. Знаете ли вы,
На этих днях мы ждем к себе комету,
Которая несет погибель свету?..

128
И поделом, ведь новый магазин
Открылся на Кузнецком, — не угодно ль
Вам посмотреть?.. Там есть мамзель Aline,
Monsieur Dupré, Durand, француз природный,
Теперь купец, а бывший дворянин;
Там есть мадам Armand; там есть субретка
Fanchaux — плутовка, смуглая кокетка!
Вся молодежь вокруг ее вертится.
Мне ж все равно, ей-богу, что случится!
И по одной значительной причине
Я только зритель в этом магазине.

129
Причина эта вот — мой кошелек:
Он пуст, как голова француза, — малость
Истратил я; но это мне урок —
Ценить дешевле ветреную шалость!» —

И, притворясь печальным сколько мог,
Шалун склонился к тетке, два-три раза
Вздохнул, чтоб удалась его проказа.
Тихонько ларчик отперев, она
Заботливо дорылася до дна
И вынула три беленьких бумажки.
И… вы легко поймете радость Сашки.

130
Когда же он пришел в свой кабинет,
То у дверей с недвижностью примерной,
В чалме пунцовой, щегольски одет,
Стоял арап, его служитель верный.
Покрыт, как лаком, был чугунный цвет
Его лица, и ряд зубов перловых,
И блеск очей открытых, но суровых,
Когда смеялся он иль говорил,
Невольный страх на душу наводил;
И в голосе его, иным казалось,
Надменностью безумной отзывалось.

131
Союз довольно странный заключен
Меж им и Сашей был. Их разговоры
Казалися таинственны, как сон;
Вдвоем, бывало, ночью, точно воры,
Уйдут и пропадают. Одарен

Соображеньем бойким, наш приятель
Восточных слов был страшный обожатель,
И потому «Зафиром» наречен
Его арап. За ним повсюду он,
Как мрачный призрак, следовал, и что же? —
Все восхищались этой скверной рожей!

132
Зафиру Сашка что-то прошептал.
Зафир кивнул курчавой головою,
Блеснул, как рысь, очами, денег взял
Из белой ручки черною рукою;
Он долго у дверей еще стоял
И говорил все время, по несчастью,
На языке чужом, и тайной страстью
Одушевлен казался. Между тем,
Облокотясь на стол, задумчив, нем,
Герой печальный моего рассказа
Глядел на африканца в оба глаза.

133
И, наконец, он подал знак рукой,
И тот исчез быстрей китайской тени.
Проворный, хитрый, с смелою душой,
Он жил у Саши как служебный гений,
Домашний дух (по-русски домовой);
Как Мефистофель, быстрый и послушный,

Он исполнял безмолвно, равнодушно,
Добро и зло. Ему была закон
Лишь воля господина. Ведал он,
Что, кроме Саши, в целом Божьем мире
Никто, никто не думал о Зафире.

134
Однако были дни давным-давно,
Когда и он на берегу Гвинеи
Имел родной шалаш, жену, пшено
И ожерелье красное на шее,
И мало ли?.. О, там он был звено
В цепи семей счастливых!.. Там пустыня
Осталась неприступна, как святыня.
И пальмы там растут до облаков,
И пена вод белее жемчугов.
Там жгут лобзанья, и пронзают очи,
И перси дев черней роскошной ночи.

135
Но родина и вольность, будто сон,
В тумане дальнем скрылись невозвратно…
В цепях железных пробудился он.
Для дикаря все стало непонятно —
Блестящих городов и шум и звон.
Так облачко, оторвано грозою,
Бродя одно под твердью голубою,

Куда пристать не знает; для него
Все чуждо — солнце, мир и шум его;
Ему обидно общее веселье, —
Оно, нахмурясь, прячется в ущелье.

136
О, я люблю густые облака,
Когда они толпятся над горою,
Как на хребте стального шишака
Колеблемые перья! Пред грозою,
В одеждах золотых, издалека
Они текут безмолвным караваном,
И, наконец, одетые туманом,
Обнявшись, свившись будто куча змей,
Беспечно дремлют на скале своей.
Настанет день, — их ветер вновь уносит:
Куда, зачем, откуда? — кто их спросит?

137
И после них на свете нет следа,
Как от любви поэта безнадежной,
Как от мечты, которой никогда
Он не открыл вниманью дружбы нежной.
И ты, чья жизнь как беглая звезда
Промчалася неслышно между нами,
Ты мук своих не выразишь словами;
Ты не хотел насмешки выпить яд

С улыбкою притворной, как Сократ;
И, не разгадан глупою толпою,
Ты умер чуждый жизни… Мир с тобою!

138

И мир твоим костям! Они сгниют,
Покрытые одеждою военной…
И сумрачен и тесен твой приют,
И ты забыт, как часовой бессменный.
Но что же делать? Жди, авось придут,
Быть может, кто-нибудь из прежних братий.
Как знать? — земля до молодых объятий
Охотница… Ответствуй мне, певец,
Куда умчался ты?.. Какой венец
На голове твоей? И все ль, как прежде,
Ты любишь нас и веруешь надежде?

139

И вы, вы все, которым столько раз
Я подносил приятельскую чашу, —
Какая буря вдаль умчала вас?
Какая цель убила юность вашу?
Я здесь один. Святой огонь погас
На алтаре моем. Желанье славы,
Как призрак, разлетелося. Вы правы:
Я не рожден для дружбы и пиров…
Я в мыслях вечный странник, сын дубров,

Ущелий и свободы, и, не зная
Гнезда, живу, как птичка кочевая.

140
Я для добра был прежде гибнуть рад,
Но за добро платили мне презреньем;
Я пробежал пороков длинный ряд
И пресыщен был горьким наслажденьем…
Тогда я хладно посмотрел назад:
Как с свежего рисунка, сгладил краску
С картины прошлых дней, вздохнул и маску
Надел, и буйным смехом заглушил
Слова глупцов, и дерзко их казнил,
И, грубо пробуждая их беспечность,
Насмешливо указывал на вечность.

141
О, вечность, вечность! Что найдем мы там
За неземной границей мира? Смутный,
Безбрежный океан, где нет векам
Названья и числа; где бесприютны
Блуждают звезды вслед другим звездам.
Заброшен в их немые хороводы,
Что станет делать гордый царь природы,
Который, верно, создан всех умней,
Чтоб пожирать растенья и зверей,
Хоть между тем (пожалуй, клясться стану)

Ужасно сам похож на обезьяну.

142
О суета! И вот ваш полубог —
Ваш человек: искусством завладевший
Землей и морем, всем, чем только мог,
Не в силах он прожить три дня не евши.
Но полно! злобный бес меня завлек
В такие толки. Век наш — век безбожный;
Пожалуй, кто-нибудь, шпион ничтожный,
Мои слова прославит, и тогда
Нельзя креститься будет без стыда;
И поневоле станешь лицемерить,
Смеясь над тем, чему желал бы верить.

143
Блажен, кто верит счастью и любви,
Блажен, кто верит небу и пророкам, —
Он долголетен будет на земли
И для сынов останется уроком.
Блажен, кто думы гордые свои
Умел смирить пред гордою толпою,
И кто грехов тяжелою ценою
Не покупал пурпурных уст и глаз,
Живых, как жизнь, и светлых, как алмаз!
Блажен, кто не склонял чела младого,
Как бедный раб, пред идолом другого!

144
Блажен, кто вырос в сумраке лесов,
Как тополь дик и свеж, в тени зеленой
Играющих и шепчущих листов,
Под кровом скал, откуда ключ студеный
По дну из камней радужных цветов
Струей гремучей прыгает, сверкая,
И где над ним береза вековая
Стоит, как призрак позднею порой,
Когда едва кой-где сучок гнилой
Трещит вдали, и мрак между ветвями
Отвсюду смотрит черными очами!

145
Блажен, кто посреди нагих степей
Меж дикими воспитан табунами;
Кто приучен был на хребте коней,
Косматых, легких, вольных, как над нами
Златые облака, от ранних дней
Носиться; кто, главой припав на гриву,
Летал, подобно сумрачному диву,
Через пустыню, чувствовал, считал,
Как мерно конь о землю ударял
Копытом звучным, и вперед землею
Упругой был кидаем с быстротою.

146

Блажен!.. Его душа всегда полна
Поэзией природы, звуков чистых;
Он не успеет вычерпать до дна
Сосуд надежд; в его кудрях волнистых
Не выглянет до время седина;
Он, в двадцать лет желающий чего-то,
Не будет вечной одержим зевотой,
И в тридцать лет не кинет край родной
С больною грудью и больной душой,
И не решится от одной лишь скуки
Писать стихи, марать в чернилах руки, —

147

Или, трудясь, как глупая овца,
В рядах дворянства, с рабским униженьем,
Прикрыв мундиром сердце подлеца, —
Искать чинов, мирясь с людским презреньем,
И поклоняться немцам до конца…
И чем же немец лучше славянина?
Не тем ли, что, куда его судьбина
Ни кинет, он везде себе найдет
Отчизну и картофель?.. Вот народ:
И без таланта правит и за деньги служит,
Всех давит он, а бьют его — не тужит!

148

Вот племя: всякий черт у них барон!

И уж профессор — каждый их сапожник!
И смело здесь и вслух глаголет он,
Как Пифия, воссев на свой треножник!
Кричит, шумит… Но что ж? Он не рожден
Под нашим небом; наша степь святая
В его глазах бездушных — степь простая,
Без памятников славных, без следов,
Где б мог прочесть он повесть тех веков,
Которые, с их грозными делами,
Унесены забвения волнами…

149

Кто недоволен выходкой моей,
Тот пусть идет в журнальную контору,
С листком в руках, с оравою друзей,
И, веруя их опытному взору,
Печатает анафему, злодей!..
Я кончил… Так! дописана страница.
Лампада гаснет… Есть всему граница —
Наполеонам, бурям и войнам,
Тем более терпенью и… стихам,
Которые давно уж не звучали
И вдруг с пера Бог знает как упали!..



Тамбовская казначейша

Играй, да не отыгрывайся.
Пословица

Посвящение
Пускай слыву я старовером,
Мне все равно — я даже рад:
Пишу Онегина размером;
Пою, друзья, на старый лад.
Прошу послушать эту сказку!
Ее нежданную развязку
Одобрите, быть может, вы
Склоненьем легким головы.
Обычай древний наблюдая,
Мы благодетельным вином
Стихи негладкие запьем,
И пробегут они, хромая,
За мирною своей семьей
К реке забвенья на покой.

I
Тамбов на карте генеральной
Кружком означен не всегда;
Он прежде город был опальный,
Теперь же, право, хоть куда.
Там есть три улицы прямые,
И фонари, и мостовые,
Там два трактира есть, один
«Московский», а другой «Берлин».
Там есть еще четыре будки,
При них два будочника есть;

По форме отдают вам честь,
И смена им два раза в сутки;
Короче, славный городок.

II
Но скука, скука, Боже правый,
Гостит и там, как над Невой,
Поит вас пресною отравой,
Ласкает черствою рукой.
И там есть чопорные франты,
Неумолимые педанты,
И там нет средства от глупцов
И музыкальных вечеров;
И там есть дамы — просто чудо!
Дианы строгие в чепцах,
С отказом вечным на устах.
При них нельзя подумать худо:
В глазах греховное прочтут
И вас осудят, проклянут.

III
Вдруг оживился круг дворянский;
Губернских дев нельзя узнать;
Пришло известье: полк уланский
В Тамбове будет зимовать.
Уланы, ах! такие хваты…
Полковник, верно, неженатый —

А уж бригадный генерал
Конечно даст блестящий бал.
У матушек сверкнули взоры;
Зато, несносные скупцы,
Неумолимые отцы
Пришли в раздумье: сабли, шпоры
Беда для крашеных полов…
Так волновался весь Тамбов.

IV
И вот однажды утром рано,
В час лучший девственного сна,
Когда сквозь пелену тумана
Едва проглядывает Цна,
Когда лишь куполы собора
Роскошно золотит Аврора,
И, тишины известный враг,
Еще безмолвствовал кабак,

Уланы справа по шести
Вступили в город; музыканты,
Дремля на лошадях своих,
Играли марш из «Двух слепых».

V
Услыша ласковое ржанье
Желанных вороных коней,
Чье сердце, полное вниманья,

Тут не запрыгало сильней?
Забыта жаркая перина…
«Малашка, дура, Катерина,
Скорее туфли и платок!
Да где Иван? какой мешок!
Два года ставни отворяют…»
Вот ставни настежь. Целый дом
Трет стекла тусклые сукном —
И любопытно пробегают
Глаза опухшие девиц
Ряды суровых, пыльных лиц.

VI

«Ах, посмотри сюда, кузина,
Вот этот!» — «Где? майор?» — «О, нет!
Как он хорош, а конь — картина,
Да жаль, он, кажется, корнет…
Как ловко, смело избочился…
Поверишь ли, он мне приснился…
Я после не могла уснуть…»
И тут девическая грудь
Косынку тихо поднимает —
И разыгравшейся мечтой
Слегка темнится взор живой.
Но полк прошел. За ним мелькает
Толпа мальчишек городских,
Немытых, шумных и босых.

VII
Против гостиницы «Московской»,
Притона буйных усачей,
Жил некто господин Бобковской,
Губернский старый казначей.
Давно был дом его построен;
Хотя невзрачен, но спокоен;
Меж двух облупленных колонн
Держался кое-как балкон.
На кровле треснувшие доски
Зеленым мохом поросли;
Зато пред окнами цвели
Четыре стриженых березки
Взамен гардин и пышных стор,
Невинной роскоши убор.

VIII
Хозяин был старик угрюмый
С огромной лысой головой.
От юных лет с казенной суммой
Он жил как с собственной казной.
В пучинах сумрачных расчета
Блуждать была ему охота,
И потому он был игрок
(Его единственный порок).
Любил налево и направо
Он в зимний вечер прометнуть,

Четвертый куш перечеркнуть,
Рутеркой понтирнуть со славой
И талью скверную порой
Запить цимлянского струей.

IX
Он был врагом трудов полезных,
Трибун тамбовских удальцов,
Гроза всех матушек уездных
И воспитатель их сынков.
Его крапленые колоды
Не раз невинные доходы
С индеек, масла и овса
Вдруг пожирали в полчаса.
Губернский врач, судья, исправник —
Таков его всегдашний круг;
Последний был делец и друг
И за столом такой забавник,
Что казначейша иногда
Сгорит, бывало, от стыда.

X
Я не поведал вам, читатель,
Что казначей мой был женат.
Благословил его Создатель,
Послав ему в супруге клад.
Ее ценил он тысяч во сто,

Хотя держал довольно просто
И не выписывал чепцов
Ей из столичных городов.
Предав ей таинства науки,
Как бросить вздох иль томный взор,
Чтоб легче влюбчивый понтер
Не разглядел проворной штуки,
Меж тем догадливый старик
С глаз не спускал ее на миг.

XI

И впрямь Авдотья Николавна
Была прелакомый кусок.
Идет, бывало, гордо, плавно —
Чуть тронет землю башмачок;
В Тамбове не запомнят люди
Такой высокой, полной груди:
Бела как сахар, так нежна,
Что жилка каждая видна.
Казалося, для нежной страсти
Она родилась. А глаза…
Ну что такое бирюза?
Что небо? Впрочем, я отчасти
Поклонник голубых очей
И не гожусь в число судей.

XII

А этот носик! эти губки,
Два свежих розовых листка!
А перламутровые зубки,
А голос сладкий как мечта!
Она картавя говорила,
Нечисто «р» произносила;
Но этот маленький порок
Кто извинить бы в ней не мог?
Любил трепать ее ланиты,
Разнежась, старый казначей.
Как жаль, что не было детей
У них!.....

XIII

Для большей ясности романа
Здесь объявить мне вам пора,
Что страстно влюблена в улана
Была одна ее сестра.
Она, как должно, тайну эту
Открыла Дуне по секрету.
Вам не случалось двух сестер
Замужних слышать разговор?
О чем тут, Боже справедливый,
Не судят милые уста!
О русских нравов простота!
Я, право, человек нелживый —
А из-за ширмов раза два

Такие слышал я слова…

XIV
Итак, тамбовская красотка
Ценить умела уж усы
Что ж? знание ее сгубило!
Один улан, повеса милый
(Я вместе часто с ним бывал),
В трактире номер занимал
Окно в окно с ее уборной.
Он был мужчина в тридцать лет;
Штаб-ротмистр, строен как корнет;
Взор пылкий, ус довольно черный:
Короче, идеал девиц,
Одно из славных русских лиц.

XV
Он все отцовское именье
Еще корнетом прокутил;
С тех пор дарами провиденья,
Как птица Божия, он жил.
Он спать, лежать привык; не ведать,
Чем будет завтра пообедать.
Шатаясь по Руси кругом,
То на курьерских, то верхом,
То полупьяным ремонтёром,
То волокитой отпускным,

Привык он к случаям таким,
Что я бы сам почел их вздором,
Когда бы все его слова
Хоть тень имели хвастовства.

XVI

Страстьми земными не смущаем,
Он не терялся никогда.
Бывало, в деле, под картечью
Всех рассмешит надутой речью,
Гримасой, фарсой площадной
Иль неподдельной остротой.
Шутя однажды после спора
Всадил он другу пулю в лоб;
Шутя и сам он лег бы в гроб —
Порой незлобен как дитя,
Был добр и честен, но шутя.

XVII

Он не был тем, что волокитой
У нас привыкли называть;
Он не ходил тропой избитой,
Свой путь умея пролагать;
Не делал страстных изъяснений,
Не становился на колени;
А несмотря на то, друзья,
Счастливей был, чем вы и я.

Таков-то был штаб-ротмистр Гарин:
По крайней мере мой портрет
Был схож тому назад пять лет.

XVIII
Спешил о редкостях Тамбова
Он у трактирщика узнать.
Узнал немало он смешного —
Интриг секретных шесть иль пять;
Узнал, невесты как богаты,
Где свахи водятся иль сваты;
Но занял более всего
Мысль беспокойную его
Рассказ о молодой соседке.
«Бедняжка! — думает улан. —
Такой безжизненный болван
Имеет право в этой клетке
Тебя стеречь — и я, злодей,
Не тронусь участью твоей?»

XIX
К окну поспешно он садится,
Надев персидский архалук;
В устах его едва дымится
Узорный бисерный чубук.
На кудри мягкие надета
Ермолка вишневого цвета

С каймой и кистью золотой,
Дар молдаванки молодой.
Сидит и смотрит он прилежно…
Вот, промелькнувши как во мгле,
Обрисовался на стекле
Головки милой профиль нежный;
Вот будто стукнуло окно…
Вот отворяется оно.

XX

Еще безмолвен город сонный;
На окнах блещет утра свет;
Еще по улице мощеной
Не раздается стук карет…
Что ж казначейшу молодую
Так рано подняло? Какую
Назвать причину поверней?
Уж не бессонница ль у ней?
На ручку опершись головкой,
Она вздыхает, а в руке
Чулок; но дело не в чулке —
Заняться этим нам неловко…
И если правду уж сказать —
Ну кстати ль было б ей вязать!

XXI

Сначала взор ее прелестный

Бродил по синим небесам,
Потом склонился к поднебесной
И вдруг… какой позор и срам!
Напротив, у окна трактира,
Сидит мужчина без мундира.
Скорей, штаб-ротмистр! ваш сюртук!
И поделом… окошко стук…
И скрылось милое виденье.
Конечно, добрые друзья,
Такая грустная статья
На вас навеяла б смущенье;
Но я отдам улану честь —
Он молвил: «Что ж? начало есть».

XXII

Два дня окно не отворялось.
Он терпелив. На третий день
На стеклах снова показалась
Ее пленительная тень;
Тихонько рама заскрипела.
Она с чулком к окну подсела.
Но опытный заметил взгляд
Ее заботливый наряд.
Своей удачею довольный,
Он встал и вышел со двора —
И не вернулся до утра.
Потом, хоть было очень больно,

Собрав запас душевных сил,
Три дня к окну не подходил.

XXIII

Но эта маленькая ссора
Имела участь нежных ссор:
Меж них завелся очень скоро
Немой, но внятный разговор.
Язык любви, язык чудесный,
Одной лишь юности известный,
Кому, кто раз хоть был любим,
Не стал ты языком родным?
В минуту страстного волненья
Кому хоть раз ты не помог
Близ милых уст, у милых ног?
Кого под игом принужденья,
В толпе завистливой и злой,
Не спас ты, чудный и живой?

XXIV

Скажу короче: в две недели
Наш Гарин твердо мог узнать,
Когда она встает с постели,
Пьет с мужем чай, идет гулять.
Отправится ль она к обедне —
Он в церкви, верно, не последний;
К сырой колонне прислонясь,

Стоит все время не крестясь.
Лучом краснеющей лампады
Его лицо озарено:
Как мрачно, холодно оно!
А испытующие взгляды
То вдруг померкнут, то блестят —
Проникнуть в грудь ее хотят.

XXV

Давно разрешено сомненье,
Что любопытен нежный пол.
Улан большое впечатленье
На казначейшу произвел
Своею странностью. Конечно,
Не надо было б мысли грешной
Дорогу в сердце пролагать,
Ее бояться и ласкать!
Жизнь без любви такая скверность;
А что, скажите, за предмет
Для страсти муж, который сед?

XXVI

Но время шло. «Пора к развязке! —
Так говорил любовник мой. —
Вздыхают молча только в сказке,
А я не сказочный герой».
Раз входит, кланяясь пренизко,

Лакей. — «Что это?» — «Вот-с записка;
Вам барин кланяться велел-с;
Сам не приехал — много дел-с;
Да приказал вас звать к обеду,
А вечерком потанцевать.
Он сам изволил так сказать».
«Ступай, скажи, что я приеду».
И в три часа, надев колет,
Летит штаб-ротмистр на обед.

XXVII

Амфитрион был предводитель —
И в день рождения жены,
Порядка ревностный блюститель,
Созвал губернские чины
И целый полк. Хотя бригадный
Заставил ждать себя изрядно
И после целый день зевал,
Но праздник в том не потерял.
Он был устроен очень мило:
В огромных вазах по столам
Стояли яблоки для дам;
А для мужчин в буфете было
Еще с утра принесено
В больших трех ящиках вино.

XXVIII

Вперед под ручку с генеральшей
Пошел хозяин. Вот за стол
Уселся от мужчин подальше
Прекрасный, но стыдливый пол —
И дружно загремел с балкона,
Средь утешительного звона
Тарелок, ложек и ножей,
Весь хор уланских трубачей:
Обычай древний, но прекрасный;
Он возбуждает аппетит,
Порою кстати заглушит
Меж двух соседей говор страстный —
Но в наше время решено,
Что все старинное смешно.

XXIX

Родов, обычаев боярских
Теперь и следу не ищи,
И только на пирах гусарских
Гремят, как прежде, трубачи.
О, скоро ль мне придется снова
Сидеть среди кружка родного
С бокалом влаги золотой
При звуках песни полковой!
И скоро ль ментиков червонных
Приветный блеск увижу я,
В тот серый час, когда заря

На строй гусаров полусонных
И на бивак их у леска
Бросает луч исподтишка!

XXX

С Авдотьей Николавной рядом
Сидел штаб-ротмистр удалой —
Впился в нее упрямым взглядом,
Крутя усы одной рукой.
Он видел, как в ней сердце билось…
И вдруг — не знаю, как случилось, —
Ноги ее иль башмачка
Коснулся шпорой он слегка.
Тут начались извиненья,
И завязался разговор;
Два комплимента, нежный взор —
И уж дошло до изъясненья…
Да, да — как честный офицер!
Но казначейша — не пример.

XXXI

Она, в ответ на нежный шепот,
Немой восторг спеша сокрыть,
Невинной дружбы тяжкий опыт
Ему решила предложить —
Таков обычай деревенский!
Помучить — способ самый женский.

Но уж давно известна нам
Любовь друзей и дружба дам!
Какое адское мученье
Сидеть весь вечер tête-á-tête[14]
С красавицей в осьмнадцать лет

XXXII
Вообще я мог в году последнем
В девицах наших городских
Заметить страсть к воздушным бредням
И мистицизму. Бойтесь их!
Такая мудрая супруга,
В часы любовного досуга,
Вам вдруг захочет доказать,
Что два и три совсем не пять;
Иль вместо пламенных лобзаний,
Магнетизировать начнет —
И счастлив муж, коли заснет!..
Плоды подобных замечаний
Конечно б, мог не ведать мир,
Но польза, польза мой кумир.

XXXIII
Я бал описывать не стану,
Хоть это был блестящий бал.
Весь вечер моему улану
Амур прилежно помогал.

Увы.....
Не веруют амуру ныне;
Забыт любви волшебный царь;
Давно остыл его алтарь!
Но за столичным просвещеньем
Провинциалы не спешат;

XXXIV
И сердце Дуни покорилось;
Его сковал могучий взор…
Ей дома целу ночь все снилось
Бряцанье сабли или шпор.
Поутру, встав часу в девятом,
Садится в шлафоре измятом
Она за вечную канву —
Все тот же сон и наяву.
По службе занят муж ревнивый,
Она одна — разгул мечтам!
Вдруг дверью стукнули. «Кто там?
Андрюшка! Ах, тюлень ленивый!..»
Вот чей-то шаг — и перед ней
Явился… только не Андрей.

XXXV
Вы отгадаете, конечно,
Кто этот гость нежданный был.
Немного, может быть, поспешно

Любовник смелый поступил;
Но, впрочем, взявши в рассмотренье
Его минувшее терпенье
И рассудив, легко поймешь,
Зачем рискует молодежь.
Кивнув легонько головою,
Он к Дуне молча подошел
И на лицо ее навел
Взор, отуманенный тоскою;
Потом стал длинный ус крутить,
Вздохнул и начал говорить:

XXXVI

«Я вижу, вы меня не ждали —
Прочесть легко из ваших глаз;
Ах, вы еще не испытали,
Что в страсти значит день, что час!
Среди сердечного волненья
Нет сил, нет власти, нет терпенья!
Я здесь — на все решился я…
Тебе я предан… ты моя!
Ни мелочные толки света,
Ничто, ничто не страшно мне;
Презренье светской болтовне —
Иль я умру от пистолета…
О, не пугайся, не дрожи;
Ведь я любим — скажи, скажи!..»

XXXVII

И взор его притворно скромный,
Склоняясь к ней, то угасал,
То, разгораясь страстью томной,
Огнем сверкающим пылал.
Бледна, в смущенье оставалась
Она пред ним… Ему казалось,
Что чрез минуту для него
Любви наступит торжество…
Как вдруг внезапный и невольный
Стыд овладел ее душой —
И, вспыхнув вся, она рукой
Толкнула прочь его: «Довольно,
Молчите — слышать не хочу!
Оставите ль? я закричу!..»

XXXVIII

Он смотрит: это не притворство,
Не штуки — как ни говори, —
А просто женское упорство,
Капризы — черт их побери!
И вот — о, верх всех унижений! —
Штаб-ротмистр преклонил колени
И молит жалобно; как вдруг
Дверь настежь — и в дверях супруг.
Красотка: «Ах!» Они взглянули
Друг другу сумрачно в глаза;

Но молча разнеслась гроза,
И Гарин вышел. Дома пули
И пистолеты снарядил,
Присел — и трубку закурил.

XXXIX
И через час ему приносит
Записку грязную лакей.
Что это? чудо! Нынче просит
К себе на вистик казначей,
Он именинник — будут гости…
От удивления и злости
Чуть не задохся наш герой.
Уж не обман ли тут какой?
Весь день проводит он в волненье.
Настал и вечер наконец.
Глядит в окно: каков хитрец —
Дом полон, что за освещенье!
А все засунуть — или нет? —
В карман на случай пистолет.

XL
Он входит в дом. Его встречает
Она сама, потупя взор.
Вздох полновесный прерывает
Едва начатый разговор.
О сцене утренней ни слова.

Они друг другу чужды снова.
Он о погоде говорит;
Она «да-с, нет-с» — и замолчит.
Измучен тайною досадой,
Идет он дальше в кабинет…
Но здесь спешить нам нужды нет,
Притом спешить нигде не надо.
Итак, позвольте отдохнуть,
А там докончим как-нибудь.

XLI

Я жить спешил в былые годы,
Искал волнений и тревог,
Законы мудрые природы
Я безрассудно пренебрег.
Что ж вышло? Право, смех и жалость!
Сковала душу мне усталость,
А сожаленье день и ночь
Твердит о прошлом. Чем помочь?
Назад не возвратят усилья.
Так в клетке молодой орел,
Глядя на горы и на дол,
Напрасно не подъемлет крылья —
Кровавой пищи не клюет,
Сидит, молчит и смерти ждет.

XLII

Ужель исчез ты, возраст милый,
Когда все сердцу говорит,
И бьется сердце с дивной силой,
И мысль восторгами кипит?
Не все ж томиться бесполезно
Орлу за клеткою железной:
Он свой воздушный прежний путь
Еще найдет когда-нибудь,
Туда, где снегом и туманом
Одеты темные скалы,
Где гнезда вьют одни орлы,
Где тучи бродят караваном!
Там можно крылья развернуть
На вольный и роскошный путь!

XLIII

Но есть всему конец на свете,
И даже выспренним мечтам.
Ну, к делу. Гарин в кабинете.
О чудеса! Хозяин сам
Его встречает с восхищеньем,
Сажает, потчует вареньем,
Несет шампанского стакан.
«Иуда!» — мыслит мой улан.
Толпа гостей теснилась шумно
Вокруг зеленого стола;
Игра уж дельная была,

И банк притом благоразумный.
Его держал сам казначей
Для облегчения друзей.

XLIV
И так как господин Бобковский
Великим делом занят сам,
То здесь блестящий круг тамбовский
Позвольте мне представить вам.
Во-первых, господин советник,
Блюститель нравов, мирный сплетник,
А вот уездный предводитель,
Весь спрятан в галстук, фрак до пят,
Дискант, усы и мутный взгляд.
А вот, спокойствия рачитель,
Сидит и сам исправник — но
Об нем уж я сказал давно.

XLV
Вот, в полуфрачке, раздушенный,
Времен новейших Митрофан,
Нетесаный, недоученный,
А уж безнравственный болван.
Доверье полное имея
К игре и знанью казначея,
Он понтирует, как велят, —
И этой чести очень рад.

Еще тут были… но довольно,
Читатель милый, будет с вас.
И так несвязный мой рассказ,
Перу покорствуя невольно
И своенравию чернил,
Бог знает чем я испестрил.

XLVI

Пошла игра. Один, бледнея,
Рвал карты, вскрикивал; другой,
Поверить проигрыш не смея,
Сидел с поникшей головой.
Иные, при удачной талье,
Стаканы шумно наливали
И чокались. Но банкомет
Был нем и мрачен. Хладный пот
По гладкой лысине струился.
Он все проигрывал дотла.
В ушах его «дана», «взяла»
Так и звучали. Он взбесился —
И проиграл свой старый дом,
И все, что в нем или при нем.

XLII

Он проиграл коляску, дрожки,
Трех лошадей, два хомута,
Всю мебель, женины сережки,

Короче — все, все дочиста.
Отчаянья и злости полный,
Сидел он бледный и безмолвный.
Уж было за полночь. Треща,
Одна погасла уж свеча.
Свет утра синевато-бледный
Вдоль по туманным небесам
Скользил. Уж многим игрокам
Сон прогулять казалось вредно,
Как вдруг, очнувшись, казначей
Вниманья просит у гостей.

XLVIII

И просит важно позволенья
Лишь талью прометнуть одну,
Но с тем, чтоб отыграть именье,
Иль «проиграть уж и жену».
О страх! о ужас! о злодейство!
И как доныне казначейство
Еще терпеть его могло!
Всех будто варом обожгло.
Улан один прехладнокровно
К нему подходит. «Очень рад, —
Он говорит, — пускай шумят,
Мы дело кончим полюбовно,
Но только чур не плутовать —
Иначе вам несдобровать!»

XLIX
Теперь кружок понтеров праздных
Вообразить прошу я вас,
Цвета их лиц разнообразных,
Блистанье их очков и глаз,
Потом усастого героя,
Который понтирует стоя;
Против него меж двух свечей
Огромный лоб, седых кудрей
Покрытый редкими клочками,
Улыбкой вытянутый рот
И две руки с колодой — вот
И вся картина перед вами,
Когда прибавим вдалеке
Жену на креслах в уголке.

L
Что в ней тогда происходило —
Я не берусь вам объяснить;
Ее лицо изобразило
Так много мук, что, может быть,
Когда бы вы их разгадали,
Вы поневоле б зарыдали.
Но пусть участия слеза
Не отуманит вам глаза:
Смешно участье в человеке,
Который жил и знает свет.

Рассказы вымышленных бед
В чувствительном прошедшем веке
Не мало проливали слез…
Кто ж в этом выиграл — вопрос?

LI
Недолго битва продолжалась;
Улан отчаянно играл;
Над стариком судьба смеялась —
И жребий выпал… час настал…
Тогда Авдотья Николавна,
Встав с кресел, медленно и плавно
К столу в молчанье подошла —
Но только цвет ее чела
Был страшно бледен. Обомлела
Толпа, — все ждут чего-нибудь —
Упреков, жалоб, слез — ничуть!
Она на мужа посмотрела
И бросила ему в лицо
Свое венчальное кольцо —

LII
И в обморок. Ее в охапку
Схватив — с добычей дорогой,
Забыв расчеты, саблю, шапку,
Улан отправился домой.
Поутру вестию забавной

Смущен был город благонравный.
Неделю целую спустя,
Кто очень важно, кто шутя,
Об этом все распространялись;
Старик защитников нашел;
Улана проклял милый пол —
За что, мы, право, не дознались.
Не зависть ли?.. Но нет, нет, нет;
Ух! я не выношу клевет!..

LIII

И вот конец печальной были
Иль сказки — выражусь прямей.
Признайтесь, вы меня бранили?
Вы ждали действия? страстей?
Повсюду нынче ищут драмы,
Все просят крови — даже дамы.
А я, как робкий ученик,
Остановился в лучший миг;
Простым нервическим припадком
Неловко сцену заключил,
Соперников не помирил
И не поссорил их порядком…
Что ж делать! Вот вам мой рассказ,
Друзья; покамест будет с вас.

Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова

Ох ты гой еси, царь Иван Васильевич!
Про тебя нашу песню сложили мы,
Про твово любимого опричника
Да про смелого купца, про Калашникова;
Мы сложили ее на старинный лад,
Мы певали ее под гуслярный звон
И причитывали да присказывали.
Православный народ ею тешился,
А боярин Матвей Ромодановский
Нам чарку поднес меду пенного,
А боярыня его белолицая
Поднесла нам на блюде серебряном
Полотенце новое, шелком шитое.
Угощали нас три дня, три ночи
И всё слушали — не наслушались.

I

Не сияет на небе солнце красное,
Не любуются им тучки синие:
То за трапезой сидит во златом венце,
Сидит грозный царь Иван Васильевич.
Позади его стоят стольники,
Супротив его всё бояре да князья,
По бокам его всё опричники;
И пирует царь во славу Божию,
В удовольствие свое и веселие.
Улыбаясь, царь повелел тогда

Вина сладкого заморского
Нацедить в свой золоченый ковш
И поднесть его опричникам.
— И все пили, царя славили.
Лишь один из них, из опричников,
Удалой боец, буйный молодец,
В золотом ковше не мочил усов;
Опустил он в землю очи темные,
Опустил головушку на широку грудь —
А в груди его была дума крепкая.
Вот нахмурил царь брови черные
И навел на него очи зоркие,
Словно ястреб взглянул с высоты небес
На младого голубя сизокрылого, —
Да не поднял глаз молодой боец.
Вот об землю царь стукнул палкою,
И дубовый пол на полчетверти
Он железным пробил оконечником —
Да не вздрогнул и тут молодой боец.
Вот промолвил царь слово грозное —
И очнулся тогда добрый молодец.
«Гей ты, верный наш слуга, Кирибеевич,
Аль ты думу затаил нечестивую?
Али славе нашей завидуешь?
Али служба тебе честная прискучила?
Когда всходит месяц — звезды радуются,

Что светлей им гулять по поднéбесью;
А которая в тучку прячется,
Та стремглав на землю падает…
Неприлично же тебе, Кирибеевич,
Царской радостью гнушатися;
А из роду ты ведь Скуратовых,
И семьею ты вскормлен Малютиной!..»
Отвечает так Кирибеевич,
Царю грозному в пояс кланяясь:
«Государь ты наш, Иван Васильевич!
Не кори ты раба недостойного:
Сердца жаркого не залить вином,
Думу черную — не запотчевать!
А прогневал я тебя — воля царская:
Прикажи казнить, рубить голову;
Тяготит она плечи богатырские,
И сама к сырой земле она клонится».
И сказал ему царь Иван Васильевич:
«Да об чем бы тебе, молодцу, кручиниться?
Не истерся ли твой парчевой кафтан?
Не измялась ли шапка соболиная?
Не казна ли у тебя поистратилась?
Иль зазубрилась сабля закаленная?
Или конь захромал, худо кованный?
Или с ног тебя сбил на кулачном бою,
На Москве-реке, сын купеческий?»

Отвечает так Кирибеевич,
Покачав головою кудрявою:
«Не родилась та рука заколдованная
Ни в боярском роду, ни в купеческом;
Аргамак мой степной ходит весело;
Как стекло горит сабля вострая;
А на праздничный день твоей милостью
Мы не хуже другого нарядимся.
Как я сяду поеду на лихом коне
За Москву-реку покататися,
Кушачком подтянуся шелковым,
Заломлю набочок шапку бархатную,
Черным соболем отороченную, —
У ворот стоят у тесовыих
Красны девушки да молодушки
И любуются, глядя, перешептываясь;
Лишь одна не глядит, не любуется,
Полосатой фатой закрывается…
На святой Руси, нашей матушке,
Не найти, не сыскать такой красавицы:
Ходит плавно — будто лебедушка;
Смотрит сладко — как голубушка;
Молвит слово — соловей поет;
Горят щеки ее румяные,
Как заря на небе Божием;
Косы русые, золотистые,

В ленты яркие заплетенные,
По плечам бегут, извиваются,
С грудью белою целуются.
Во семье родилась она купеческой,
Прозывается Аленой Дмитревной.
Как увижу ее, я и сам не свой:
Опускаются руки сильные,
Помрачаются очи бойкие;
Скучно, грустно мне, православный царь,
Одному по свету маяться.
Опостыли мне кони легкие,
Опостыли наряды парчовые,
И не надо мне золотой казны:
С кем казною своей поделюсь теперь?
Перед кем покажу удальство свое?
Перед кем я нарядом похвастаюсь?
Отпусти меня в степи приволжские,
На житье на вольное, на казацкое.
Уж сложу я там буйную головушку
И сложу на копье бусурманское;
И разделят по себе злы татаровья
Коня доброго, саблю острую
И седельце браное черкасское.
Мои очи слезные коршун выклюет,
Мои кости сирые дождик вымоет,
И без похорон горемычный прах

На четыре стороны развеется!..»
И сказал, смеясь, Иван Васильевич:
«Ну, мой верный слуга! я твоей беде,
Твоему горю пособить постараюся.
Вот возьми перстенек ты мой яхонтовый,
Да возьми ожерелье жемчужное.
Прежде свахе смышленой покланяйся
И пошли дары драгоценные
Ты своей Алене Дмитревне:
Как полюбишься — празднуй свадебку,
Не полюбишься — не прогневайся».
Ох ты гой еси, царь Иван Васильевич!
Обманул тебя твой лукавый раб,
Не сказал тебе правды истинной,
Не поведал тебе, что красавица
В церкви Божией перевенчана,
Перевенчана с молодым купцом
По закону нашему христианскому…

***

Ай, ребята, пойте — только гусли стройте!
Ай, ребята, пейте — дело разумейте!
Уж потешьте вы доброго боярина
И боярыню его белолицую!

II

За прилавкою сидит молодой купец,

Статный молодец Степан Парамонович,
По прозванию Калашников;
Шелковые товары раскладывает,
Речью ласковой гостей он заманивает,
Злато, серебро пересчитывает.
Да недобрый день задался ему:
Ходят мимо баре богатые,
В его лавочку не заглядывают.
Отзвонили вечерню во святых церквах;
За Кремлем горит заря туманная,
Набегают тучки на небо, —
Гонит их метелица распеваючи;
Опустел широкий гостиный двор.
Запирает Степан Парамонович
Свою лавочку дверью дубовою
Да замком немецким со пружиною;
Злого пса-ворчуна зубастого
На железную цепь привязывает,
И пошел он домой, призадумавшись,
К молодой хозяйке за Москву-реку.
И приходит он в свой высокий дом,
И дивится Степан Парамонович:
Не встречает его молода жена,
Не накрыт дубовый стол белой скатертью,
А свеча перед образом еле теплится.
И кличет он старую работницу:

«Ты скажи, скажи, Еремеевна,
А куда девалась, затаилася
В такой поздний час Алена Дмитревна?
А что детки мои любезные —
Чай, забегались, заигралися,
Спозаранку спать уложилися?»
«Господин ты мой, Степан Парамонович,
Я скажу тебе диво дивное:
Что к вечерне пошла Алена Дмитревна;
Вот уж поп прошел с молодой попадьей,
Засветили свечу, сели ужинать, —
А по сю пору твоя хозяюшка
Из приходской церкви не вернулася.
А что детки твои малые
Почивать не легли, не играть пошли —
Плачем плачут, всё не унимаются».
И смутился тогда думой крепкою
Молодой купец Калашников;
И он стал к окну, глядит на улицу —
А на улице ночь темнехонька;
Валит белый снег, расстилается,
Заметает след человеческий.
Вот он слышит, в сенях дверью хлопнули,
Потом слышит шаги торопливые;
Обернулся, глядит — сила крестная! —
Перед ним стоит молода жена,

Сама бледная, простоволосая,
Косы русые расплетенные
Снегом-инеем пересыпаны;
Смотрят очи мутные как безумные;
Уста шепчут речи непонятные.
«Уж ты где, жена, жена, шаталася?
На каком подворье, на площади,
Что растрепаны твои волосы,
Что одежа твоя вся изорвана?
Уж гуляла ты, пировала ты,
Чай, с сынками все боярскими?..
Не на то пред святыми иконами
Мы с тобой, жена, обручалися,
Золотыми кольцами менялися!..
Как запру я тебя за железный замок,
За дубовую дверь окованную,
Чтобы свету Божьего ты не видела,
Мое имя честное не порочила…»
И, услышав то, Алена Дмитревна
Задрожала вся, моя голубушка,
Затряслась как листочек осиновый,
Горько-горько она восплакалась,
В ноги мужу повалилася.
«Государь ты мой, красно солнышко,
Иль убей меня, или выслушай!
Твои речи — будто острый нож;

От них сердце разрывается.
Не боюся смерти лютыя,
Не боюся я людской молвы,
А боюсь твоей немилости.
От вечерни домой шла я нонече
Вдоль по улице одинешенька.
И послышалось мне, будто снег хрустит;
Оглянулася — человек бежит.
Мои ноженьки подкосилися,
Шелковой фатой я закрылася.
И он сильно схватил меня за руки
И сказал мне так тихим шепотом:
«Что пужаешься, красная красавица?
Я не вор какой, душегуб лесной,
Я слуга царя, царя грозного,
Прозываюся Кирибеевичем,
А из славной семьи из Малютиной…»
Испугалась я пуще прежнего;
Закружилась моя бедная головушка.
И он стал меня целовать-ласкать
И, целуя, все приговаривал:
«Отвечай мне, чего тебе надобно,
Моя милая, драгоценная!
Хочешь золота али жемчугу?
Хочешь ярких камней аль цветной парчи?
Как царицу я наряжу тебя,

Станут все тебе завидовать,
Лишь не дай мне умереть смертью грешною:
Полюби меня, обними меня
Хоть единый раз на прощание!»
И ласкал он меня, целовал меня;
На щеках моих и теперь горят,
Живым пламенем разливаются
Поцелуи его окаянные…
А смотрели в калитку соседушки,
Смеючись, на нас пальцем показывали…
Как из рук его я рванулася
И домой стремглав бежать бросилась;
И остались в руках у разбойника
Мой узорный платок, твой подарочек,
И фата моя бухарская.
Опозорил он, осрамил меня,
Меня честную, непорочную, —
И что скажут злые соседушки?
И кому на глаза покажусь теперь?
Ты не дай меня, свою верную жену,
Злым охульникам в поругание!
На кого, кроме тебя, мне надеяться?
У кого просить стану помощи?
На белом свете я сиротинушка:
Родной батюшка уж в сырой земле,
Рядом с ним лежит моя матушка,

А мой старший брат, сам ты ведаешь,
На чужой сторонушке пропал без вести,
А меньшой мой брат — дитя малое,
Дитя малое, неразумное…»
Говорила так Алена Дмитревна,
Горючьми слезами заливалася.
Посылает Степан Парамонович
За двумя меньшими братьями;
И пришли его два брата, поклонилися,
И такое слово ему молвили:
«Ты поведай нам, старшой наш брат,
Что с тобой случилось, приключилося,
Что послал ты за нами во темную ночь,
Во темную ночь морозную?»
«Я скажу вам, братцы любезные,
Что лиха беда со мною приключилася:
Опозорил семью нашу честную
Злой опричник царский Кирибеевич;
А такой обиды не стерпеть душе
Да не вынести сердцу молодецкому.
Уж как завтра будет кулачный бой
На Москве-реке при самом царе,
И я выйду тогда на опричника,
Буду насмерть биться, до последних сил;
А побьет он меня — выходите вы
За святую правду-матушку.

Не сробейте, братцы любезные!
Вы моложе меня, свежей силою,
На вас меньше грехов накопилося,
Так авось Господь вас помилует!»
И в ответ ему братья молвили:
«Куда ветер дует в поднéбесьи,
Туда мчатся и тучки послушные,
Когда сизый орел зовет голосом
На кровавую долину побоища,
Зовет пир пировать, мертвецов убирать,
К нему малые орлята слетаются:
Ты наш старший брат, нам второй отец;
Делай сам, как знаешь, как ведаешь,
А уж мы тебя, родного, не выдадим».

***

Ай, ребята, пойте — только гусли стройте!
Ай, ребята, пейте — дело разумейте!
Уж потешьте вы доброго боярина
И боярыню его белолицую!

III

Над Москвой великой, златоглавою,
Над стеной кремлевской белокаменной
Из-за дальних лесов, из-за синих гор,
По тесовым кровелькам играючи,
Тучки серые разгоняючи,

Заря алая подымается;
Разметала кудри золотистые,
Умывается снегами рассыпчатыми,
Как красавица, глядя в зеркальце,
В небо чистое смотрит, улыбается.
Уж зачем ты, алая заря, просыпалася?
На какой ты радости разыгралася?
Как сходилися, собиралися
Удалые бойцы московские
На Москву-реку, на кулачный бой,
Разгуляться для праздника, потешиться.
И приехал царь со дружиною,
Со боярами и опричниками,
И велел растянуть цепь серебряную,
Чистым золотом в кольцах спаянную.
Оцепили место в двадцать пять сажен,
Для охотницкого бою, одиночного.
И велел тогда царь Иван Васильевич
Клич кликать звонким голосом:
«Ой, уж где вы, добрые молодцы?
Вы потешьте царя нашего батюшку!
Выходите-ка во широкий круг;
Кто побьет кого, того царь наградит,
А кто будет побит, тому Бог простит!»
И выходит удалой Кирибеевич,
Царю в пояс молча кланяется,

Скидает с могучих плеч шубу бархатную,
Подпершися в бок рукою правою,
Поправляет другой шапку алую,
Ожидает он себе противника…
Трижды громкий клич прокликали —
Ни один боец и не тронулся,
Лишь стоят да друг друга поталкивают.
На просторе опричник похаживает,
Над плохими бойцами подсмеивает:
«Присмирели, небойсь, призадумались!
Так и быть, обещаюсь, для праздника,
Отпущу живого с покаянием,
Лишь потешу царя нашего батюшку».
Вдруг толпа раздалась в обе стороны —
И выходит Степан Парамонович,
Молодой купец, удалой боец,
По прозванию Калашников,
Поклонился прежде царю грозному,
После белому Кремлю да святым церквам,
А потом всему народу русскому.
Горят очи его соколиные,
На опричника смотрят пристально.
Супротив него он становится,
Боевые рукавицы натягивает,
Могутные плечи распрямливает
Да кудряву бороду поглаживает.

И сказал ему Кирибеевич:
«А поведай мне, добрый молодец,
Ты какого роду-племени,
Каким именем прозываешься?
Чтобы знать, по ком панихиду служить,
Чтобы было чем и похвастаться».
Отвечает Степан Парамонович:
«А зовут меня Степаном Калашниковым,
А родился я от честнова отца,
И жил я по закону Господнему:
Не позорил я чужой жены,
Не разбойничал ночью темною,
Не таился от свету небесного…
И промолвил ты правду истинную:
По одном из нас будут панихиду петь,
И не позже как завтра в час полуденный;
И один из нас будет хвастаться,
С удалыми друзьями пируючи…
Не шутку шутить, не людей смешить
К тебе вышел я теперь, бусурманский сын, —
Вышел я на страшный бой, на последний бой!»
И услышав то, Кирибеевич
Побледнел в лице, как осенний снег;
Бойки очи его затуманились,
Между сильных плеч пробежал мороз,
На раскрытых устах слово замерло…

Вот молча оба расходятся, —
Богатырский бой начинается.
Размахнулся тогда Кирибеевич
И ударил впервóй купца Калашникова,
И ударил его посередь груди —
Затрещала грудь молодецкая,
Пошатнулся Степан Парамонович;
На груди его широкой висел медный крест
Со святыми мощами из Киева, —
И погнулся крест и вдавился в грудь;
Как роса из-под него кровь закапала;
И подумал Степан Парамонович:
«Чему быть суждено, то и сбудется;
Постою за правду до последнева!»
Изловчился он, приготовился,
Собрался со всею силою
И ударил своего ненавистника
Прямо в левый висок со всего плеча.
И опричник молодой застонал слегка,
Закачался, упал замертво;
Повалился он на холодный снег,
На холодный снег, будто сосенка,
Будто сосенка, во сыром бору
Под смолистый под корень подрубленная.
И увидев то, царь Иван Васильевич
Прогневался гневом, топнул о землю

И нахмурил брови черные;
Повелел он схватить удалова купца
И привесть его пред лицо свое.
Как возгóворил православный царь:
«Отвечай мне по правде, по совести,
Вольной волею или нехотя
Ты убил насмерть мово верного слугу,
Мово лучшего бойца Кирибеевича?»
«Я скажу тебе, православный царь:
Я убил его вольной волею,
А за что, про что — не скажу тебе,
Скажу только Богу единому.
Прикажи меня казнить — и на плаху несть
Мне головушку повинную;
Не оставь лишь малых детушек,
Не оставь молодую вдову
Да двух братьев моих своей милостью…»
«Хорошо тебе, детинушка,
Удалой боец, сын купеческий,
Что ответ держал ты по совести.
Молодую жену и сирот твоих
Из казны моей я пожалую,
Твоим братьям велю от сего же дня
По всему царству русскому широкому
Торговать безданно, беспошлинно.
А ты сам ступай, детинушка,

На высокое место лобное,
Сложи свою буйную головушку.
Я топор велю наточить-навострить,
Палача велю одеть-нарядить,
В большой колокол прикажу звонить,
Чтобы знали все люди московские,
Что и ты не оставлен моей милостью…»
Как на площади народ собирается,
Заунывный гудит-воет колокол,
Разглашает всюду весть недобрую.
По высокому месту лобному,
Во рубахе красной с яркой запонкой,
С большим топором навостренным,
Руки голые потираючи,
Палач весело похаживает,
Удалого бойца дожидается, —
А лихой боец, молодой купец,
Со родными братьями прощается:
«Уж вы, братцы мои, други кровные,
Поцелуемтесь да обниметесь
На последнее расставание.
Поклонитесь от меня Алене Дмитревне,
Закажите ей меньше печалиться,
Про меня моим детушкам не сказывать.
Поклонитесь дому родительскому,
Поклонитесь всем нашим товарищам,

Помолитесь сами в церкви Божией
Вы за душу мою, душу грешную!»
И казнили Степана Калашникова
Смертью лютою, позорною;
И головушка бесталанная
Во крови на плаху покатилася.
Схоронили его за Москвой-рекой,
На чистом поле промеж трех дорог:
Промеж Тульской, Рязанской, Владимирской,
И бугор земли сырой тут насыпали,
И кленовый крест тут поставили.
И гуляют-шумят ветры буйные
Над его безымянной могилкою.
И проходят мимо люди добрые:
Пройдет стар человек — перекрестится,
Пройдет молодец — приосанится,
Пройдет девица — пригорюнится,
А пройдут гусляры — споют песенку.

***

Гей вы, ребята удалые,
Гусляры молодые,
Голоса заливные!
Красно начинали — красно и кончайте,
Каждому правдою и честью воздайте.
Тороватому боярину слава!
И красавице боярыне слава!

И всему народу христианскому слава!



Демон

Восточная повесть

Часть I

I

Печальный Демон, дух изгнанья,
Летал над грешною землей,
И лучших дней воспоминанья
Пред ним теснилися толпой;
Тех дней, когда в жилище света
Блистал он, чистый херувим,
Когда бегущая комета
Улыбкой ласковой привета
Любила поменяться с ним,
Когда сквозь вечные туманы,
Познанья жадный, он следил
Кочующие караваны
В пространстве брошенных светил;
Когда он верил и любил,
Счастливый первенец творенья!
Не знал ни злобы, ни сомненья,
И не грозил уму его
Веков бесплодных ряд унылый…
И много, много... и всего
Припомнить не имел он силы!

II

Давно отверженный блуждал
В пустыне мира без приюта:

Вослед за веком век бежал,
Как за минутою минута,
Однообразной чередой.
Ничтожной властвуя землей,
Он сеял зло без наслажденья.
Нигде искусству своему
Он не встречал сопротивленья —
И зло наскучило ему.

III

И над вершинами Кавказа
Изгнанник рая пролетал:
Под ним Казбек, как грань алмаза,
Снегами вечными сиял,
И, глубоко внизу чернея,
Как трещина, жилище змея,
Вился излучистый Дарьял,
И Терек, прыгая, как львица
С косматой гривой на хребте,
Ревел, — и горный зверь и птица,
Кружась в лазурной высоте,
Глаголу вод его внимали;
И золотые облака
Из южных стран, издалека
Его на север провожали;
И скалы тесною толпой,
Таинственной дремоты полны,

Над ним склонялись головой,
Следя мелькающие волны;
И башни замков на скалах
Смотрели грозно сквозь туманы —
У врат Кавказа на часах
Сторожевые великаны!
И дик и чуден был вокруг
Весь Божий мир; но гордый дух
Презрительным окинул оком
Творенье Бога своего,
И на челе его высоком
Не отразилось ничего.

IV

И перед ним иной картины
Красы живые расцвели:
Роскошной Грузии долины
Ковром раскинулись вдали;
Счастливый, пышный край земли!
Столпообразные раины,
Звонко бегущие ручьи
По дну из камней разноцветных,
И кущи роз, где соловьи
Поют красавиц, безответных
На сладкий голос их любви;
Чинар развесистые сени,
Густым венчанные плющом,

Пещеры, где палящим днем
Таятся робкие олени;
И блеск, и жизнь, и шум листов,
Стозвучный говор голосов,
Дыханье тысячи растений!
И полдня сладострастный зной,
И ароматною росой
Всегда увлаженные ночи,
И звезды яркие, как очи,
Как взор грузинки молодой!..
Но, кроме зависти холодной,
Природы блеск не возбудил
В груди изгнанника бесплодной
Ни новых чувств, ни новых сил;
И все, что пред собой он видел,
Он презирал иль ненавидел.

V

Высокий дом, широкий двор
Седой Гудал себе построил…
Трудов и слез он много стоил
Рабам послушным с давних пор.
С утра на скат соседних гор
От стен его ложатся тени.
В скале нарублены ступени;
Они от башни угловой
Ведут к реке, по ним мелькая,

Покрыта белою чадрой[15],
Княжна Тамара молодая
К Арагве ходит за водой.

VI

Всегда безмолвно на долины
Глядел с утеса мрачный дом;
Но пир большой сегодня в нем —
Звучит зурна[16], и льются вины —
Гудал сосватал дочь свою,
На пир он созвал всю семью.
На кровле, устланной коврами,
Сидит невеста меж подруг:
Средь игр и песен их досуг
Проходит. Дальними горами
Уж спрятан солнца полукруг;
В ладони мерно ударяя,
Они поют — и бубен свой
Берет невеста молодая.
И вот она, одной рукой
Кружа его над головой,
То вдруг помчится легче птицы,
То остановится, глядит —
И влажный взор ее блестит
Из-под завистливой ресницы;
То черной бровью поведет,
То вдруг наклонится немножко,

И по ковру скользит, плывет
Ее божественная ножка;
И улыбается она,
Веселья детского полна.
Но луч луны, по влаге зыбкой
Слегка играющий порой,
Едва ль сравнится с той улыбкой,
Как жизнь, как молодость, живой.

VII

Клянусь полночною звездой,
Лучом заката и востока,
Властитель Персии златой
И ни единый царь земной
Не целовал такого ока;
Гарема брызжущий фонтан
Ни разу жаркою порою
Своей жемчужною росою
Не омывал подобный стан!
Еще ничья рука земная,
По милому челу блуждая,
Таких волос не расплела;
С тех пор как мир лишился рая,
Клянусь, красавица такая
Под солнцем юга не цвела.

VIII

В последний раз она плясала.
Увы! заутра ожидала
Ее, наследницу Гудала,
Свободы резвую дитя,
Судьба печальная рабыни,
Отчизна, чуждая поныне,
И незнакомая семья.
И часто тайное сомненье
Темнило светлые черты;
И были все ее движенья
Так стройны, полны выраженья,
Так полны милой простоты,
Что если б Демон, пролетая,
В то время на нее взглянул,
То, прежних братий вспоминая,
Он отвернулся б — и вздохнул…

IX

И Демон видел… На мгновенье
Неизъяснимое волненье
В себе почувствовал он вдруг.
Немой души его пустыню
Наполнил благодатный звук —
И вновь постигнул он святыню
Любви, добра и красоты!..
И долго сладостной картиной
Он любовался — и мечты

О прежнем счастье цепью длинной,
Как будто за звездой звезда,
Пред ним катилися тогда.
Прикованный незримой силой,
Он с новой грустью стал знаком;
В нем чувство вдруг заговорило
Родным когда-то языком.
То был ли признак возрожденья?
Он слов коварных искушенья
Найти в уме своем не мог…
Забыть? — забвенья не дал Бог:
Да он и не взял бы забвенья!..

X

Измучив доброго коня,
На брачный пир к закату дня
Спешил жених нетерпеливый.
Арагвы светлой он счастливо
Достиг зеленых берегов.
Под тяжкой ношею даров
Едва, едва переступая,
За ним верблюдов длинный ряд
Дорогой тянется, мелькая:
Их колокольчики звенят.
Он сам, властитель Синодала,
Ведет богатый караван.
Ремнем затянут ловкий стан;

Оправа сабли и кинжала
Блестит на солнце; за спиной
Ружье с насечкой вырезной.
Играет ветер рукавами
Его чухи[17], — кругом она
Вся галуном обложена.
Цветными вышито шелками
Его седло; узда с кистями;
Под ним весь в мыле конь лихой
Бесценной масти, золотой.
Питомец резвый Карабаха
Прядет ушьми и, полный страха,
Храпя косится с крутизны
На пену скачущей волны.
Опасен, узок путь прибрежный!
Утесы с левой стороны,
Направо глубь реки мятежной.
Уж поздно. На вершине снежной
Румянец гаснет; встал туман…
Прибавил шагу караван.

XI

И вот часовня на дороге…
Тут с давних лет почиет в Боге
Какой-то князь, теперь святой,
Убитый мстительной рукой.
С тех пор на праздник иль на битву,

Куда бы путник ни спешил,
Всегда усердную молитву
Он у часовни приносил;
И та молитва сберегала
От мусульманского кинжала.
Но презрел удалой жених
Обычай прадедов своих.
Его коварною мечтою
Лукавый Демон возмущал:
Он в мыслях, под ночною тьмою,
Уста невесты целовал.
Вдруг впереди мелькнули двое,
И больше — выстрел! — что такое?..
Привстав на звонких стременах[18],
Надвинув на брови папах[19],
Отважный князь не молвил слова;
В руке сверкнул турецкий ствол,
Нагайка щелк — и как орел
Он кинулся… и выстрел снова!
И дикий крик и стон глухой
Промчались в глубине долины —
Недолго продолжался бой:
Бежали робкие грузины!

XII

Затихло все; теснясь толпой,
На трупы всадников порой

Верблюды с ужасом глядели;
И глухо в тишине степной
Их колокольчики звенели.
Разграблен пышный караван;
И над телами христиан
Чертит круги ночная птица!
Не ждет их мирная гробница
Под слоем монастырских плит,
Где прах отцов их был зарыт;
Не придут сестры с матерями,
Покрыты длинными чадрами,
С тоской, рыданьем и мольбами,
На гроб их из далеких мест!
Зато усердною рукою
Здесь у дороги, над скалою
На память водрузится крест;
И плющ, разросшийся весною,
Его, ласкаясь, обовьет
Своею сеткой изумрудной;
И, своротив с дороги трудной,
Не раз усталый пешеход
Под Божьей тенью отдохнет…

XIII

Несется конь быстрее лани,
Храпит и рвется, будто к брани;
То вдруг осадит на скаку,

Прислушается к ветерку,
Широко ноздри раздувая;
То, разом в землю ударяя
Шипами звонкими копыт,
Взмахнув растрепанною гривой,
Вперед без памяти летит.
На нем есть всадник молчаливый!
Он бьется на седле порой,
Припав на гриву головой.
Уж он не правит поводами,
Задвинул ноги в стремена,
И кровь широкими струями
На чепраке его видна.
Скакун лихой, ты господина
Из боя вынес как стрела,
Но злая пуля осетина
Его во мраке догнала!

XIV

В семье Гудала плач и стоны,
Толпится на дворе народ:
Чей конь примчался запаленный
И пал на камни у ворот?
Кто этот всадник бездыханный?
Хранили след тревоги бранной
Морщины смуглого чела.
В крови оружие и платье;

В последнем бешеном пожатье
Рука на гриве замерла.
Недолго жениха младого,
Невеста, взор твой ожидал:
Сдержал он княжеское слово,
На брачный пир он прискакал…
Увы! но никогда уж снова
Не сядет на коня лихого!..

XV

На беззаботную семью
Как гром слетела Божья кара!
Упала на постель свою,
Рыдает бедная Тамара;
Слеза катится за слезой,
Грудь высоко и трудно дышит;
И вот она как будто слышит
Волшебный голос над собой:
«Не плачь, дитя! не плачь напрасно!
Твоя слеза на труп безгласный
Живой росой не упадет:
Она лишь взор туманит ясный,
Ланиты девственные жжет!
Он далеко, он не узнает,
Не оценит тоски твоей;
Небесный свет теперь ласкает
Бесплотный взор его очей;

Он слышит райские напевы…
Что жизни мелочные сны,
И стон и слезы бедной девы
Для гостя райской стороны?
Нет, жребий смертного творенья,
Поверь мне, ангел мой земной,
Не стоит одного мгновенья
Твоей печали дорогой!
На воздушном океане,
Без руля и без ветрил,
Тихо плавают в тумане
Хоры стройные светил;
Средь полей необозримых
В небе ходят без следа
Облаков неуловимых
Волокнистые стада.
Час разлуки, час свиданья —
Им ни радость, ни печаль;
Им в грядущем нет желанья,
И прошедшего не жаль.
В день томительный несчастья
Ты об них лишь вспомяни;
Будь к земному без участья
И беспечна, как они!
Лишь только ночь своим покровом
Верхи Кавказа осенит,

Лишь только мир, волшебным словом
Завороженный, замолчит;
Лишь только ветер над скалою
Увядшей шевельнет травою,
И птичка, спрятанная в ней,
Порхнет во мраке веселей;
И под лозою виноградной,
Росу небес глотая жадно,
Цветок распустится ночной;
Лишь только месяц золотой
Из-за горы тихонько встанет
И на тебя украдкой взглянет, —
К тебе я стану прилетать;
Гостить я буду до денницы
И на шелковые ресницы
Сны золотые навевать…»

XVI

Слова умолкли в отдаленье,
Вослед за звуком умер звук.
Она, вскочив, глядит вокруг…
Невыразимое смятенье
В ее груди; печаль, испуг,
Восторга пыл — ничто в сравненье.
Все чувства в ней кипели вдруг;
Душа рвала свои оковы,
Огонь по жилам пробегал,

И этот голос чудно-новый,
Ей мнилось, все еще звучал.
И перед утром сон желанный
Глаза усталые смежил;
Но мысль ее он возмутил
Мечтой пророческой и странной.
Пришлец туманный и немой,
Красой блистая неземной,
К ее склонился изголовью;
И взор его с такой любовью,
Так грустно на нее смотрел,
Как будто он об ней жалел.
То не был ангел-небожитель,
Ее божественный хранитель:
Венец из радужных лучей
Не украшал его кудрей.
То не был ада дух ужасный,
Порочный мученик — о нет!
Он был похож на вечер ясный:
Ни день, ни ночь, — ни мрак, ни свет!..

Часть II

I

«Отец, отец, оставь угрозы,
Свою Тамару не брани;
Я плачу: видишь эти слезы,
Уже не первые они.
Напрасно женихи толпою
Спешат сюда из дальних мест…
Немало в Грузии невест;
А мне не быть ничьей женою!..
О, не брани, отец, меня.
Ты сам заметил: день от дня
Я вяну, жертва злой отравы!
Меня терзает дух лукавый
Неотразимою мечтой;
Я гибну, сжалься надо мной!
Отдай в священную обитель
Дочь безрассудную свою;
Там защитит меня Спаситель,
Пред ним тоску мою пролью.
На свете нет уж мне веселья…
Святыни миром осеня,
Пусть примет сумрачная келья,
Как гроб, заранее меня…»

II

И в монастырь уединенный
Ее родные отвезли,
И власяницею смиренной
Грудь молодую облекли.
Но и в монашеской одежде,
Как под узорною парчой,
Все беззаконною мечтой
В ней сердце билося, как прежде.
Пред алтарем, при блеске свеч,
В часы торжественного пенья,
Знакомая, среди моленья,
Ей часто слышалася речь.
Под сводом сумрачного храма
Знакомый образ иногда
Скользил без звука и следа
В тумане легком фимиама;
Сиял он тихо, как звезда;
Манил и звал он… но — куда?..

III

В прохладе меж двумя холмами
Таился монастырь святой.
Чинар и тополей рядами
Он окружен был — и порой,
Когда ложилась ночь в ущелье,
Сквозь них мелькала, в окнах кельи,
Лампада грешницы младой.

Кругом, в тени дерев миндальных,
Где ряд стоит крестов печальных,
Безмолвных сторожей гробниц,
Спевались хоры легких птиц.
По камням прыгали, шумели
Ключи студеною волной,
И под нависшею скалой,
Сливаясь дружески в ущелье,
Катились дальше, меж кустов,
Покрытых инеем цветов.

IV

На север видны были горы.
При блеске утренней Авроры,
Когда синеющий дымок
Курится в глубине долины,
И, обращаясь на восток,
Зовут к молитве муэцины,
И звучный колокола глас
Дрожит, обитель пробуждая;
В торжественный и мирный час,
Когда грузинка молодая
С кувшином длинным за водой
С горы спускается крутой,
Вершины цепи снеговой
Светло-лиловою стеной
На чистом небе рисовались,

И в час заката одевались
Они румяной пеленой;
И между них, прорезав тучи,
Стоял, всех выше головой,
Казбек, Кавказа царь могучий,
В чалме и ризе парчевой.

V

Но, полно думою преступной,
Тамары сердце недоступно
Восторгам чистым. Перед ней
Весь мир одет угрюмой тенью;
И все ей в нем предлог мученью —
И утра луч и мрак ночей.
Бывало, только ночи сонной
Прохлада землю обоймет,
Перед божественной иконой
Она в безумье упадет
И плачет; и в ночном молчанье
Ее тяжелое рыданье
Тревожит путника вниманье;
И мыслит он: «То горный дух,
Прикованный в пещере, стонет!»
И, чуткий напрягая слух,
Коня измученного гонит…

VI

Тоской и трепетом полна,
Тамара часто у окна
Сидит в раздумье одиноком
И смотрит вдаль прилежным оком,
И целый день, вздыхая, ждет…
Ей кто-то шепчет: он придет!
Недаром сны ее ласкали,
Недаром он являлся ей,
С глазами, полными печали,
И чудной нежностью речей.
Уж много дней она томится,
Сама не зная почему;
Святым захочет ли молиться —
А сердце молится *ему*;
Утомлена борьбой всегдашней,
Склонится ли на ложе сна:
Подушка жжет, ей душно, страшно,
И вся, вскочив, дрожит она;
Пылают грудь ее и плечи,
Нет сил дышать, туман в очах,
Объятья жадно ищут встречи,
Лобзанья тают на устах…

VII

Вечерней мглы покров воздушный
Уж холмы Грузии одел.
Привычке сладостной послушный,

В обитель Демон прилетел.
Но долго, долго он не смел
Святыню мирного приюта
Нарушить. И была минута,
Когда казался он готов
Оставить умысел жестокой.
Задумчив у стены высокой
Он бродит: от его шагов
Без ветра лист в тени трепещет.
Он поднял взор: ее окно,
Озарено лампадой, блещет;
Кого-то ждет она давно!
И вот средь общего молчанья
Чингура[20] стройное бряцанье
И звуки песни раздались;
И звуки те лились, лились,
Как слезы, мерно друг за другом;
И эта песнь была нежна,
Как будто для земли она
Была на небе сложена!
Не ангел ли с забытым другом
Вновь повидаться захотел,
Сюда украдкою слетел
И о былом ему пропел,
Чтоб усладить его мученье?..
Тоску любви, ее волненье

Постигнул Демон в первый раз;
Он хочет в страхе удалиться…
Его крыло не шевелится!
И, чудо! из померкших глаз
Слеза тяжелая катится…
Поныне возле кельи той
Насквозь прожженный виден камень
Слезою жаркою, как пламень,
Нечеловеческой слезой!..

VIII

И входит он, любить готовый,
С душой, открытой для добра,
И мыслит он, что жизни новой
Пришла желанная пора.
Неясный трепет ожиданья,
Страх неизвестности немой,
Как будто в первое свиданье
Спознались с гордою душой.
То было злое предвещанье!
Он входит, смотрит — перед ним
Посланник рая, херувим,
Хранитель грешницы прекрасной,
Стоит с блистающим челом
И от врага с улыбкой ясной
Приосенил ее крылом;
И луч божественного света

Вдруг ослепил нечистый взор,
И вместо сладкого привета
Раздался тягостный укор:

IX

«Дух беспокойный, дух порочный,
Кто звал тебя во тьме полночной?
Твоих поклонников здесь нет,
Зло не дышало здесь поныне;
К моей любви, к моей святыне
Не пролагай преступный след.
Кто звал тебя?»
Ему в ответ
Злой дух коварно усмехнулся;
Зарделся ревностию взгляд;
И вновь в душе его проснулся
Старинной ненависти яд.
«Она моя! — сказал он грозно, —
Оставь ее, она моя!
Явился ты, защитник, поздно,
И ей, как мне, ты не судья.
На сердце, полное гордыни,
Я наложил печать мою;
Здесь больше нет твоей святыни,
Здесь я владею и люблю!»
И Ангел грустными очами
На жертву бедную взглянул

И медленно, взмахнув крылами,
В эфире неба потонул.

X

Тамара
О! кто ты? речь твоя опасна!
Тебя послал мне ад иль рай?
Чего ты хочешь?..
Демон
Ты прекрасна!
Тамара
Но молви, кто ты? отвечай…
Демон
Я тот, которому внимала
Ты в полуночной тишине,
Чья мысль душе твоей шептала,
Чью грусть ты смутно отгадала,
Чей образ видела во сне.
Я тот, чей взор надежду губит;
Я тот, кого никто не любит;
Я бич рабов моих земных,
Я царь познанья и свободы,
Я враг небес, я зло природы,
И, видишь, — я у ног твоих!
Тебе принес я в умиленье
Молитву тихую любви,

Земное первое мученье
И слезы первые мои.
О! выслушай — из сожаленья!
Меня добру и небесам
Ты возвратить могла бы словом.
Твоей любви святым покровом
Одетый, я предстал бы там,
Как новый ангел в блеске новом;
О! только выслушай, молю, —
Я раб твой, — я тебя люблю!
Лишь только я тебя увидел —
И тайно вдруг возненавидел
Бессмертие и власть мою.
Я позавидовал невольно
Неполной радости земной;
Не жить, как ты, мне стало больно,
И страшно — розно жить с тобой.
В бескровном сердце луч нежданный
Опять затеплился живей,
И грусть на дне старинной раны
Зашевелилася, как змей.
Что без тебя мне эта вечность?
Моих владений бесконечность?
Пустые звучные слова,
Обширный храм — без божества!
Тамара

Оставь меня, о дух лукавый!
Молчи, не верю я врагу…
Творец… Увы! я не могу
Молиться… гибельной отравой
Мой ум слабеющий объят!
Послушай, ты меня погубишь;
Твои слова — огонь и яд…
Скажи, зачем меня ты любишь!
Демон
Зачем, красавица? Увы,
Не знаю!.. Полон жизни новой,
С моей преступной головы
Я гордо снял венец терновый,
Я все былое бросил в прах:
Мой рай, мой ад в твоих очах.
Люблю тебя нездешней страстью,
Как полюбить не можешь ты:
Всем упоением, всей властью
Бессмертной мысли и мечты.
В душе моей, с начала мира,
Твой образ был напечатлен,
Передо мной носился он
В пустынях вечного эфира.
Давно тревожа мысль мою,
Мне имя сладкое звучало;
Во дни блаженства мне в раю

Одной тебя недоставало.
О! если б ты могла понять,
Какое горькое томленье
Всю жизнь, века без разделенья
И наслаждаться и страдать,
За зло похвал не ожидать
Ни за добро вознагражденья;
Жить для себя, скучать собой
И этой вечною борьбой
Без торжества, без примиренья!
Всегда жалеть и не желать,
Все знать, все чувствовать, все видеть,
Стараться все возненавидеть
И все на свете презирать!..
Лишь только Божие проклятье
Исполнилось, с того же дня
Природы жаркие объятья
Навек остыли для меня;
Синело предо мной пространство;
Я видел брачное убранство
Светил, знакомых мне давно…
Они текли в венцах из злата;
Но что же? прежнего собрата
Не узнавало ни одно.
Изгнанников, себе подобных,
Я звать в отчаянии стал,

Но слов и лиц и взоров злобных,
Увы! я сам не узнавал.
И в страхе я, взмахнув крылами,
Помчался — но куда? зачем?
Не знаю… прежними друзьями
Я был отвергнут; как Эдем,
Мир для меня стал глух и нем.
По вольной прихоти теченья
Так поврежденная ладья
Без парусов и без руля
Плывет, не зная назначенья;
Так ранней утренней порой
Отрывок тучи громовой,
В лазурной вышине чернея,
Один, нигде пристать не смея,
Летит без цели и следа,
Бог весть откуда и куда!
И я людьми недолго правил,
Греху недолго их учил,
Все благородное бесславил
И все прекрасное хулил;
Недолго… пламень чистой веры
Легко навек я залил в них…
А стоили ль трудов моих
Одни глупцы да лицемеры?
И скрылся я в ущельях гор;

И стал бродить, как метеор,
Во мраке полночи глубокой…
И мчался путник одинокой,
Обманут близким огоньком;
И в бездну падая с конем,
Напрасно звал — и след кровавый
За ним вился по крутизне…
Но злобы мрачные забавы
Недолго нравилися мне!
В борьбе с могучим ураганом,
Как часто, подымая прах,
Одетый молньей и туманом,
Я шумно мчался в облаках,
Чтобы в толпе стихий мятежной
Сердечный ропот заглушить,
Спастись от думы неизбежной
И незабвенное забыть!
Что повесть тягостных лишений,
Трудов и бед толпы людской
Грядущих, прошлых поколений,
Перед минутою одной
Моих непризнанных мучений?
Что люди? что их жизнь и труд?
Они прошли, они пройдут…
Надежда есть — ждет правый суд:
Простить он может, хоть осудит!

Моя ж печаль бессменно тут,
И ей конца, как мне, не будет;
И не вздремнуть в могиле ей!
Она то ластится, как змей,
То жжет и плещет, будто пламень,
То давит мысль мою, как камень —
Надежд погибших и страстей
Несокрушимый мавзолей!..
[Тамара
Зачем мне знать твои печали,
Зачем ты жалуешься мне?
Ты согрешил…
Демон
Против тебя ли?
Тамара
Нас могут слышать!..
Демон
Мы одне.
Тамара
А Бог!
Демон
На нас не кинет взгляда:
Он занят небом, не землей!
Тамара
А наказанье, муки ада?
Демон

Так что ж? Ты будешь там со мной!]
Тамара
Кто б ни был ты, мой друг случайный, —
Покой навеки погубя,
Невольно я с отрадой тайной,
Страдалец, слушаю тебя.
Но если речь твоя лукава,
Но если ты, обман тая…
О! пощади! Какая слава?
На что душа тебе моя?
Ужели небу я дороже
Всех, не замеченных тобой?
Они, увы! прекрасны тоже;
Как здесь, их девственное ложе
Не смято смертною рукой…
Нет! дай мне клятву роковую…
Скажи, — ты видишь: я тоскую;
Ты видишь женские мечты!
Невольно страх в душе ласкаешь…
Но ты все понял, ты все знаешь —
И сжалишься, конечно, ты!
Клянися мне… от злых стяжаний
Отречься ныне дай обет.
Ужель ни клятв, ни обещаний
Ненарушимых больше нет?..
Демон

Клянусь я первым днем творенья,
Клянусь его последним днем,
Клянусь позором преступленья
И вечной правды торжеством.
Клянусь паденья горькой мукой,
Победы краткою мечтой;
Клянусь свиданием с тобой
И вновь грозящею разлукой.
Клянуся сонмищем духов,
Судьбою братий мне подвластных,
Мечами ангелов бесстрастных,
Моих недремлющих врагов;
Клянуся небом я и адом,
Земной святыней и тобой,
Клянусь твоим последним взглядом,
Твоею первою слезой,
Незлобных уст твоих дыханьем,
Волною шелковых кудрей,
Клянусь блаженством и страданьем,
Клянусь любовию моей:
Я отрекся от старой мести,
Я отрекся от гордых дум;
Отныне яд коварной лести
Ничей уж не встревожит ум;
Хочу я с небом примириться,
Хочу любить, хочу молиться,

Хочу я веровать добру.
Слезой раскаянья сотру
Я на челе, тебя достойном,
Следы небесного огня —
И мир в неведенье спокойном
Пусть доцветает без меня!
О! верь мне: я один поныне
Тебя постиг и оценил:
Избрав тебя моей святыней,
Я власть у ног твоих сложил.
Твоей любви я жду, как дара,
И вечность дам тебе за миг;
В любви, как в злобе, верь, Тамара,
Я неизменен и велик.
Тебя я, вольный сын эфира,
Возьму в надзвездные края;
И будешь ты царицей мира,
Подруга первая моя;
Без сожаленья, без участья
Смотреть на землю станешь ты,
Где нет ни истинного счастья,
Ни долговечной красоты,
Где преступленья лишь да казни,
Где страсти мелкой только жить;
Где не умеют без боязни
Ни ненавидеть, ни любить.

Иль ты не знаешь, что такое
Людей минутная любовь?
Волненье крови молодое, —
Но дни бегут и стынет кровь!
Кто устоит против разлуки,
Соблазна новой красоты,
Против усталости и скуки
И своенравия мечты?
Нет! не тебе, моей подруге,
Узнай, назначено судьбой
Увянуть молча в тесном круге
Ревнивой грубости рабой,
Средь малодушных и холодных,
Друзей притворных и врагов,
Боязней и надежд бесплодных,
Пустых и тягостных трудов!
Печально за стеной высокой
Ты не угаснешь без страстей,
Среди молитв, равно далеко
От божества и от людей.
О нет, прекрасное созданье,
К иному ты присуждена;
Тебя иное ждет страданье,
Иных восторгов глубина;
Оставь же прежние желанья
И жалкий свет его судьбе:

Пучину гордого познанья
Взамен открою я тебе.
Толпу духов моих служебных
Я приведу к твоим стопам;
Прислужниц легких и волшебных
Тебе, красавица, я дам;
И для тебя с звезды восточной
Сорву венец я золотой;
Возьму с цветов росы полночной;
Его усыплю той росой;
Лучом румяного заката
Твой стан, как лентой, обовью,
Дыханьем чистым аромата
Окрестный воздух напою;
Всечасно дивною игрою
Твой слух лелеять буду я;
Чертоги пышные построю
Из бирюзы и янтаря;
Я опущусь на дно морское,
Я полечу за облака,
Я дам тебе все, все земное —
Люби меня!..

XI

И он слегка
Коснулся жаркими устами
Ее трепещущим губам;

Соблазна полными речами
Он отвечал ее мольбам.
Могучий взор смотрел ей в очи!
Он жег ее. Во мраке ночи
Над нею прямо он сверкал,
Неотразимый, как кинжал.
Увы! злой дух торжествовал!
Смертельный яд его лобзанья
Мгновенно в грудь ее проник.
Мучительный, ужасный крик
Ночное возмутил молчанье.
В нем было все: любовь, страданье,
Упрек с последнею мольбой
И безнадежное прощанье —
Прощанье с жизнью молодой.

XII

В то время сторож полуночный,
Один вокруг стены крутой
Свершая тихо путь урочный,
Бродил с чугунною доской,
И возле кельи девы юной
Он шаг свой мерный укротил
И руку над доской чугунной,
Смутясь душой, остановил.
И сквозь окрестное молчанье,
Ему казалось, слышал он

Двух уст согласное лобзанье,
Минутный крик и слабый стон.
И нечестивое сомненье
Проникло в сердце старика…
Но пронеслось еще мгновенье,
И стихло все; издалека
Лишь дуновенье ветерка
Роптанье листьев приносило,
Да с темным берегом уныло
Шепталась горная река.
Канон угодника святого
Спешит он в страхе прочитать,
Чтоб наваждение духа злого
От грешной мысли отогнать;
Крестит дрожащими перстами
Мечтой взволнованную грудь
И молча скорыми шагами
Обычный продолжает путь.

XIII

Как пери спящая мила,
Она в гробу своем лежала,
Белей и чище покрывала
Был томный цвет ее чела.
Навек опущены ресницы…
Но кто б, о небо! не сказал,
Что взор под ними лишь дремал

И, чудный, только ожидал
Иль поцелуя, иль денницы?
Но бесполезно луч дневной
Скользил по ним струей златой,
Напрасно их в немой печали
Уста родные целовали…
Нет! смерти вечную печать
Ничто не в силах уж сорвать!

XIV

Ни разу не был в дни веселья
Так разноцветен и богат
Тамары праздничный наряд.
Цветы родимого ущелья
(Так древний требует обряд)
Над нею льют свой аромат
И, сжаты мертвою рукою,
Как бы прощаются с землею!
И ничего в ее лице
Не намекало о конце
В пылу страстей и упоенья;
И были все ее черты
Исполнены той красоты,
Как мрамор, чуждой выраженья,
Лишенной чувства и ума,
Таинственной, как смерть сама.
Улыбка странная застыла,

Мелькнувши по ее устам.
О многом грустном говорила
Она внимательным глазам:
В ней было хладное презренье
Души, готовой отцвести,
Последней мысли выраженье,
Земле беззвучное прости.
Напрасный отблеск жизни прежней,
Она была еще мертвей,
Еще для сердца безнадежней
Навек угаснувших очей.
Так в час торжественный заката,
Когда, растаяв в море злата,
Уж скрылась колесница дня,
Снега Кавказа, на мгновенье
Отлив румяный сохраня,
Сияют в темном отдаленье.
Но этот луч полуживой
В пустыне отблеска не встретит,
И путь ничей он не осветит
С своей вершины ледяной!..

XV

Толпой соседи и родные
Уж собрались в печальный путь.
Терзая локоны седые,
Безмолвно поражая грудь,

В последний раз Гудал садится
На белогривого коня,
И поезд тронулся. Три дня,
Три ночи путь их будет длиться:
Меж старых дедовских костей
Приют покойный вырыт ей.
Один из праотцев Гудала,
Грабитель странников и сел,
Когда болезнь его сковала
И час раскаянья пришел,
Грехов минувших в искупленье
Построить церковь обещал
На вышине гранитных скал,
Где только вьюги слышно пенье,
Куда лишь коршун залетал.
И скоро меж снегов Казбека
Поднялся одинокий храм,
И кости злого человека
Вновь успокоилися там;
И превратилася в кладбище
Скала, родная облакам:
Как будто ближе к небесам
Теплей посмертное жилище?..
Как будто дальше от людей
Последний сон не возмутится…
Напрасно! мертвым не приснится

Ни грусть, ни радость прошлых дней.

XVI

В пространстве синего эфира
Один из ангелов святых
Летел на крыльях золотых,
И душу грешную от мира
Он нес в объятиях своих.
И сладкой речью упованья
Ее сомненья разгонял,
И след проступка и страданья
С нее слезами он смывал.
Издалека уж звуки рая
К ним доносилися — как вдруг,
Свободный путь пересекая,
Взвился из бездны адский дух.
Он был могущ, как вихорь шумный,
Блистал, как молнии струя,
И гордо в дерзости безумной
Он говорит: «Она моя!»
К груди хранительной прижалась,
Молитвой ужас заглуша,
Тамары грешная душа.
Судьба грядущего решалась,
Пред нею снова он стоял,
Но, Боже! — кто б его узнал?
Каким смотрел он злобным взглядом,

Как полон был смертельным ядом
Вражды, не знающей конца, —
И веяло могильным хладом
От неподвижного лица.
«Исчезни, мрачный дух сомненья! —
Посланник неба отвечал: —
Довольно ты торжествовал;
Но час суда теперь настал —
И благо Божие решенье!
Дни испытания прошли;
С одеждой бренною земли
Оковы зла с нее ниспали.
Узнай! давно ее мы ждали!
Ее душа была из тех,
Которых жизнь — одно мгновенье
Невыносимого мученья,
Недосягаемых утех:
Творец из лучшего эфира
Соткал живые струны их,
Они не созданы для мира,
И мир был создан не для них!
Ценой жестокой искупила
Она сомнения свои…
Она страдала и любила —
И рай открылся для любви!»
И Ангел строгими очами

На искусителя взглянул
И, радостно взмахнув крылами,
В сиянье неба потонул.
И проклял Демон побежденный
Мечты безумные свои,
И вновь остался он, надменный,
Один, как прежде, во вселенной
Без упованья и любви!..

_____

На склоне каменной горы
Над Койшаурскою долиной
Еще стоят до сей поры
Зубцы развалины старинной.
Рассказов, страшных для детей,
О них еще преданья полны…
Как призрак, памятник безмолвный,
Свидетель тех волшебных дней,
Между деревьями чернеет.
Внизу рассыпался аул,
Земля цветет и зеленеет;
И голосов нестройный гул
Теряется, и караваны
Идут, звеня, издалека,
И, низвергаясь сквозь туманы,
Блестит и пенится река.
И жизнью вечно молодою,

Прохладой, солнцем и весною
Природа тешится шутя,
Как беззаботная дитя.
Но грустен замок, отслуживший
Года во очередь свою,
Как бедный старец, переживший
Друзей и милую семью.
И только ждут луны восхода
Его незримые жильцы:
Тогда им праздник и свобода!
Жужжат, бегут во все концы.
Седой паук, отшельник новый,
Прядет сетей своих основы;
Зеленых ящериц семья
На кровле весело играет;
И осторожная змея
Из темной щели выползает
На плиту старого крыльца,
То вдруг совьется в три кольца,
То ляжет длинной полосою
И блещет, как булатный меч,
Забытый в поле давних сеч,
Ненужный падшему герою!..
Все дико; нет нигде следов
Минувших лет: рука веков
Прилежно, долго их сметала,

И не напомнит ничего
О славном имени Гудала,
О милой дочери его!
Но церковь на крутой вершине,
Где взяты кости их землей,
Хранима властию святой,
Видна меж туч еще поныне.
И у ворот ее стоят
На страже черные граниты,
Плащами снежными покрыты;
И на груди их вместо лат
Льды вековечные горят.
Обвалов сонные громады
С уступов, будто водопады,
Морозом схваченные вдруг,
Висят, нахмурившись, вокруг.
И там метель дозором ходит,
Сдувая пыль со стен седых,
То песню долгую заводит,
То окликает часовых;
Услыша вести в отдаленье
О чудном храме, в той стране,
С востока облака одне
Спешат толпой на поклоненье;
Но над семьей могильных плит
Давно никто уж не грустит.

Скала угрюмого Казбека
Добычу жадно сторожит,
И вечный ропот человека
Их вечный мир не возмутит.



Мцыри*[1]

*1 Мцыри — на грузинском языке значит «неслужащий монах», нечто вроде «послушника». — *Прим. Лермонтова.*

Вкушая, вкусих мало меда, и се аз умираю.
1-я Книга Царств

1
Немного лет тому назад,
Там, где, сливаясь, шумят,
Обнявшись, будто две сестры,
Струи Арагвы и Куры,
Был монастырь. Из-за горы
И нынче видит пешеход
Столбы обрушенных ворот,
И башни, и церковный свод;
Но не курится уж под ним
Кадильниц благовонный дым,
Не слышно пенье в поздний час
Молящих иноков за нас.
Теперь один старик седой,
Развалин страж полуживой,
Людьми и смертию забыт,
Сметает пыль с могильных плит,
Которых надпись говорит
О славе прошлой — и о том,
Как, удручен своим венцом,
Такой-то царь в такой-то год
Вручал России свой народ.

———

И Божья благодать сошла
На Грузию! Она цвела
С тех пор в тени своих садов,

Не опасаяся врагов,
За гранью дружеских штыков.

2

Однажды русский генерал
Из гор к Тифлису проезжал;
Ребенка пленного он вез.
Тот занемог, не перенес
Трудов далекого пути.
Он был, казалось, лет шести;
Как серна гор, пуглив и дик
И слаб и гибок, как тростник.
Но в нем мучительный недуг
Развил тогда могучий дух
Его отцов. Без жалоб он
Томился, даже слабый стон
Из детских губ не вылетал,
Он знаком пищу отвергал
И тихо, гордо умирал.
Из жалости один монах
Больного призрел, и в стенах
Хранительных остался он,
Искусством дружеским спасен.
Но, чужд ребяческих утех,
Сначала бегал он от всех,
Бродил безмолвен, одинок,
Смотрел, вздыхая, на восток,

Томим неясною тоской
По стороне своей родной.
Но после к плену он привык,
Стал понимать чужой язык,
Был окрещен святым отцом
И, с шумным светом незнаком,
Уже хотел во цвете лет
Изречь монашеский обет,
Как вдруг однажды он исчез
Осенней ночью. Темный лес
Тянулся по горам кругом.
Три дня все поиски по нем
Напрасны были, но потом
Его в степи без чувств нашли
И вновь в обитель принесли.
Он страшно бледен был и худ
И слаб, как будто долгий труд,
Болезнь иль голод испытал.
Он на допрос не отвечал
И с каждым днем приметно вял.
И близок стал его конец;
Тогда пришел к нему чернец
С увещеваньем и мольбой;
И, гордо выслушав, больной
Привстал, собрав остаток сил,
И долго так он говорил:

3
«Ты слушать исповедь мою
Сюда пришел, благодарю.
Всё лучше перед кем-нибудь
Словами облегчить мне грудь;
Но людям я не делал зла,
И потому мои дела
Немного пользы вам узнать;
А душу можно ль рассказать?
Я мало жил, и жил в плену.
Таких две жизни за одну,
Но только полную тревог,
Я променял бы, если б мог.
Я знал одной лишь думы власть,
Одну — но пламенную страсть:
Она, как червь, во мне жила,
Изгрызла душу и сожгла.
Она мечты мои звала
От келий душных и молитв
В тот чудный мир тревог и битв,
Где в тучах прячутся скалы,
Где люди вольны, как орлы.
Я эту страсть во тьме ночной
Вскормил слезами и тоской;
Ее пред небом и землей
Я ныне громко признаю

И о прощенье не молю.

4

Старик! я слышал много раз,
Что ты меня от смерти спас —
Зачем?.. Угрюм и одинок,
Грозой оторванный листок,
Я вырос в сумрачных стенах,
Душой дитя, судьбой монах.
Я никому не мог сказать
Священных слов — «отец» и «мать».
Конечно, ты хотел, старик,
Чтоб я в обители отвык
От этих сладостных имен. —
Напрасно: звук их был рожден
Со мной. Я видел у других
Отчизну, дом, друзей, родных,
А у себя не находил
Не только милых душ — могил!
Тогда, пустых не тратя слез,
В душе я клятву произнес:
Хотя на миг когда-нибудь
Мою пылающую грудь
Прижать с тоской к груди другой,
Хоть незнакомой, но родной.
Увы, теперь мечтанья те
Погибли в полной красоте,

И я, как жил, в земле чужой
Умру рабом и сиротой.

5

Меня могила не страшит:
Там, говорят, страданье спит
В холодной, вечной тишине;
Но с жизнью жаль расстаться мне.
Я молод, молод… Знал ли ты
Разгульной юности мечты?
Или не знал, или забыл,
Как ненавидел и любил;
Как сердце билося живей
При виде солнца и полей
С высокой башни угловой,
Где воздух свеж и где порой
В глубокой скважине стены,
Дитя неведомой страны,
Прижавшись, голубь молодой
Сидит, испуганный грозой?
Пускай теперь прекрасный свет
Тебе постыл: ты слаб, ты сед,
И от желаний ты отвык.
Что за нужда? ты жил, старик!
Тебе есть в мире что забыть,
Ты жил, — я также мог бы жить!

6

Ты хочешь знать, что видел я
На воле? Пышные поля,
Холмы, покрытые венцом
Дерев, разросшихся кругом,
Шумящих свежею толпой,
Как братья в пляске круговой.
Я видел груды темных скал,
Когда поток их разделял,
И думы их я угадал:
Мне было свыше то дано!
Простерты в воздухе давно
Объятья каменные их,
И жаждут встречи каждый миг;
Но дни бегут, бегут года —
Им не сойтиться никогда!
Я видел горные хребты,
Причудливые, как мечты,
Когда в час утренней зари
Курилися, как алтари,
Их выси в небе голубом,
И облачко за облачком,
Покинув тайный свой ночлег,
К востоку направляло бег —
Как будто белый караван
Залетных птиц из дальних стран!

Вдали я видел сквозь туман,
В снегах, горящих как алмаз,
Седой, незыблемый Кавказ;
И было сердцу моему
Легко, не знаю почему.
Мне тайный голос говорил,
Что некогда и я там жил,
И стало в памяти моей
Прошедшее ясней, ясней...

7

И вспомнил я отцовский дом,
Ущелье наше и кругом
В тени рассыпанный аул;
Мне слышался вечерний гул
Домой бегущих табунов
И дальний лай знакомых псов.
Я помнил смуглых стариков,
При свете лунных вечеров
Против отцовского крыльца
Сидевших с важностью лица;
И блеск оправленных ножон
Кинжалов длинных... и как сон
Все это смутной чередой
Вдруг пробегало предо мной.
А мой отец? Он как живой
В своей одежде боевой

Являлся мне, и помнил я
Кольчуги звон, и блеск ружья,
И гордый непреклонный взор,
И молодых моих сестер…
Лучи их сладостных очей
И звук их песен и речей
Над колыбелию моей…
В ущелье там бежал поток,
Он шумен был, но неглубок;
К нему, на золотой песок,
Играть я в полдень уходил
И взором ласточек следил,
Когда они перед дождем
Волны касалися крылом.
И вспомнил я наш мирный дом
И пред вечерним очагом
Рассказы долгие о том,
Как жили люди прежних дней,
Когда был мир еще пышней.

8

Ты хочешь знать, что делал я
На воле? Жил — и жизнь моя
Без этих трех блаженных дней
Была б печальней и мрачней
Бессильной старости твоей.
Давным-давно задумал я

Взглянуть на дальние поля,
Узнать, прекрасна ли земля,
Узнать, для воли иль тюрьмы
На этот свет родимся мы.
И в час ночной, ужасный час,
Когда гроза пугала вас,
Когда, столпясь при алтаре,
Вы ниц лежали на земле,
Я убежал. О, я как брат
Обняться с бурей был бы рад!
Глазами тучи я следил,
Рукою молнию ловил…
Скажи мне, что средь этих стен
Могли бы дать вы мне взамен
Той дружбы краткой, но живой,
Меж бурным сердцем и грозой?..

9

Бежал я долго — где, куда?
Не знаю! Ни одна звезда
Не озаряла трудный путь.
Мне было весело вдохнуть
В мою измученную грудь
Ночную свежесть тех лесов,
И только! Много я часов
Бежал и наконец, устав,
Прилег между высоких трав;

Прислушался: погони нет.
Гроза утихла. Бледный свет
Тянулся длинной полосой
Меж темным небом и землей,
И различал я, как узор,
На ней зубцы далеких гор;
Недвижим, молча я лежал.
Порой в ущелии шакал
Кричал и плакал, как дитя,
И, гладкой чешуей блестя,
Змея скользила меж камней;
Но страх не сжал души моей:
Я сам, как зверь, был чужд людей
И полз и прятался как змей.

10

Внизу глубоко подо мной
Поток, усиленный грозой,
Шумел, и шум его глухой
Сердитых сотне голосов
Подобился. Хотя без слов,
Мне внятен был тот разговор,
Немолчный ропот, вечный спор
С упрямой грудою камней.
То вдруг стихал он, то сильней
Он раздавался в тишине;
И вот в туманной вышине

Запели птички, и восток
Озолотился; ветерок
Сырые шевельнул листы;
Дохнули сонные цветы,
И, как они, навстречу дню,
Я поднял голову мою…
Я осмотрелся; не таю:
Мне стало страшно; на краю
Грозящей бездны я лежал,
Где выл, крутясь, сердитый вал;
Туда вели ступени скал;
Но лишь злой дух по ним шагал,
Когда, низверженный с небес,
В подземной пропасти исчез.

11

Кругом меня цвел Божий сад;
Растений радужный наряд
Хранил следы небесных слез,
И кудри виноградных лоз
Вились, красуясь меж дерев
Прозрачной зеленью листов;
И грозды полные на них,
Серег подобье дорогих,
Висели пышно, и порой
К ним птиц летал пугливый рой.
И снова я к земле припал

И снова вслушиваться стал
К волшебным, странным голосам;
Они шептались по кустам,
Как будто речь свою вели
О тайнах неба и земли;
И все природы голоса
Сливались тут; не раздался
В торжественный хваленья час
Лишь человека гордый глас.
Все, что я чувствовал тогда,
Те думы — им уж нет следа;
Но я б желал их рассказать,
Чтоб жить, хоть мысленно, опять.
В то утро был небесный свод
Так чист, что ангела полет
Прилежный взор следить бы мог;
Он так прозрачно был глубок,
Так полон ровной синевой!
Я в нем глазами и душой
Тонул, пока полдневный зной
Мои мечты не разогнал,
И жаждой я томиться стал.

12

Тогда к потоку с высоты,
Держась за гибкие кусты,
С плиты на плиту я, как мог,

Спускаться начал. Из-под ног
Сорвавшись, камень иногда
Катился вниз — за ним бразда
Дымилась, прах вился столбом;
Гудя и прыгая, потом
Он поглощаем был волной;
И я висел над глубиной,
Но юность вольная сильна,
И смерть казалась не страшна!
Лишь только я с крутых высот
Спустился, свежесть горных вод
Повеяла навстречу мне,
И жадно я припал к волне.
Вдруг голос — легкий шум шагов…
Мгновенно скрывшись меж кустов,
Невольным трепетом объят,
Я поднял боязливый взгляд
И жадно вслушиваться стал:
И ближе, ближе все звучал
Грузинки голос молодой,
Так безыскусственно живой,
Так сладко вольный, будто он
Лишь звуки дружеских имен
Произносить был приучен.
Простая песня то была,
Но в мысль она мне залегла,

И мне, лишь сумрак настает,
Незримый дух ее поет.

13

Держа кувшин над головой,
Грузинка узкою тропой
Сходила к берегу. Порой
Она скользила меж камней,
Смеясь неловкости своей.
И беден был ее наряд;
И шла она легко, назад
Изгибы длинные чадры
Откинув. Летние жары
Покрыли тенью золотой
Лицо и грудь ее; и зной
Дышал от уст ее и щек.
И мрак очей был так глубок,
Так полон тайнами любви,
Что думы пылкие мои
Смутились. Помню только я
Кувшина звон, — когда струя
Вливалась медленно в него,
И шорох… больше ничего.
Когда же я очнулся вновь
И отлила от сердца кровь,
Она была уж далеко;
И шла хоть тише, — но легко,

Стройна под ношею своей,
Как тополь, царь ее полей!
Недалеко, в прохладной мгле,
Казалось, приросли к скале
Две сакли дружною четой;
Над плоской кровлею одной
Дымок струился голубой.
Я вижу будто бы теперь,
Как отперлась тихонько дверь…
И затворилася опять!..
Тебе, я знаю, не понять
Мою тоску, мою печаль;
И если б мог, — мне было б жаль:
Воспоминанья тех минут
Во мне, со мной пускай умрут.

14

Трудами ночи изнурен,
Я лег в тени. Отрадный сон
Сомкнул глаза невольно мне…
И снова видел я во сне
Грузинки образ молодой.
И странной, сладкою тоской
Опять моя заныла грудь.
Я долго силился вздохнуть —
И пробудился. Уж луна
Вверху сияла, и одна

Лишь тучка кралася за ней
Как за добычею своей,
Объятья жадные раскрыв.
Мир темен был и молчалив;
Лишь серебристой бахромой
Вершины цепи снеговой
Вдали сверкали предо мной
Да в берега плескал поток.
В знакомой сакле огонек
То трепетал, то снова гас:
На небесах в полночный час
Так гаснет яркая звезда!
Хотелось мне… но я туда
Взойти не смел. Я цель одну —
Пройти в родимую страну —
Имел в душе и превозмог
Страданье голода, как мог.
И вот дорогою прямой
Пустился, робкий и немой.
Но скоро в глубине лесной
Из виду горы потерял
И тут с пути сбиваться стал.

15

Напрасно в бешенстве порой
Я рвал отчаянной рукой
Терновник, спутанный плющом:

Все лес был, вечный лес кругом,
Страшней и гуще каждый час;
И миллионом черных глаз
Смотрела ночи темнота
Сквозь ветви каждого куста…
Моя кружилась голова;
Я стал влезать на дерева;
Но даже на краю небес
Все тот же был зубчатый лес.
Тогда на землю я упал;
И в исступлении рыдал,
И грыз сырую грудь земли,
И слезы, слезы потекли
В нее горючею росой…
Но, верь мне, помощи людской
Я не желал… Я был чужой
Для них навек, как зверь степной;
И если б хоть минутный крик
Мне изменил — клянусь, старик,
Я б вырвал слабый мой язык.

16

Ты помнишь детские года:
Слезы не знал я никогда;
Но тут я плакал без стыда.
Кто видеть мог? Лишь темный лес
Да месяц, плывший средь небес!

Озарена его лучом,
Покрыта мохом и песком,
Непроницаемой стеной
Окружена, передо мной
Была поляна. Вдруг по ней
Мелькнула тень, и двух огней
Промчались искры… и потом
Какой-то зверь одним прыжком
Из чащи выскочил и лег,
Играя, навзничь на песок.
То был пустыни вечный гость —
Могучий барс. Сырую кость
Он грыз и весело визжал;
То взор кровавый устремлял,
Мотая ласково хвостом,
На полный месяц, — и на нем
Шерсть отливалась серебром.
Я ждал, схватив рогатый сук,
Минуту битвы; сердце вдруг
Зажглося жаждою борьбы
И крови… да, рука судьбы
Меня вела иным путем…
Но нынче я уверен в том,
Что быть бы мог в краю отцов
Не из последних удальцов.

Я ждал. И вот в тени ночной
Врага почуял он, и вой
Протяжный, жалобный как стон,
Раздался вдруг… и начал он
Сердито лапой рыть песок,
Встал на дыбы, потом прилег,
И первый бешеный скачок
Мне страшной смертию грозил…
Но я его предупредил.
Удар мой верен был и скор.
Надежный сук мой, как топор,
Широкий лоб его рассек…
Он застонал, как человек,
И опрокинулся. Но вновь,
Хотя лила из раны кровь
Густой, широкою волной,
Бой закипел, смертельный бой!

18

Ко мне он кинулся на грудь;
Но в горло я успел воткнуть
И там два раза повернуть
Мое оружье… Он завыл,
Рванулся из последних сил,
И мы, сплетясь, как пара змей,
Обнявшись крепче двух друзей,
Упали разом, и во мгле

Бой продолжался на земле.
И я был страшен в этот миг;
Как барс пустынный, зол и дик,
Я пламенел, визжал, как он;
Как будто сам я был рожден
В семействе барсов и волков
Под свежим пологом лесов.
Казалось, что слова людей
Забыл я — и в груди моей
Родился тот ужасный крик,
Как будто с детства мой язык
К иному звуку не привык…
Но враг мой стал изнемогать,
Метаться, медленней дышать,
Сдавил меня в последний раз…
Зрачки его недвижных глаз
Блеснули грозно — и потом
Закрылись тихо вечным сном;
Но с торжествующим врагом
Он встретил смерть лицом к лицу,
Как в битве следует бойцу!..

19

Ты видишь на груди моей
Следы глубокие когтей;
Еще они не заросли
И не закрылись; но земли

Сырой покров их освежит
И смерть навеки заживит.
О них тогда я позабыл,
И, вновь собрав остаток сил,
Побрел я в глубине лесной…
Но тщетно спорил я с судьбой:
Она смеялась надо мной!

20

Я вышел из лесу. И вот
Проснулся день, и хоровод
Светил напутственных исчез
В его лучах. Туманный лес
Заговорил. Вдали аул
Куриться начал. Смутный гул
В долине с ветром пробежал…
Я сел и вслушиваться стал;
Но смолк он вместе с ветерком.
И кинул взоры я кругом:
Тот край, казалось, мне знаком.
И страшно было мне, понять
Не мог я долго, что опять
Вернулся я к тюрьме моей;
Что бесполезно столько дней
Я тайный замысел ласкал,
Терпел, томился и страдал,
И все зачем?.. Чтоб в цвете лет,

Едва взглянув на Божий свет,
При звучном ропоте дубрав
Блаженство вольности познав,
Унесть в могилу за собой
Тоску по родине святой,
Надежд обманутых укор
И вашей жалости позор!..
Еще в сомненье погружен,
Я думал — это страшный сон…
Вдруг дальний колокола звон
Раздался снова в тишине —
И тут все ясно стало мне…
О, я узнал его тотчас!
Он с детских глаз уже не раз
Сгонял виденья снов живых
Про милых ближних и родных,
Про волю дикую степей,
Про легких, бешеных коней,
Про битвы чудные меж скал,
Где всех один я побеждал!..
И слушал я без слез, без сил.
Казалось, звон тот выходил
Из сердца — будто кто-нибудь
Железом ударял мне в грудь.
И смутно понял я тогда,
Что мне на родину следа

Не проложить уж никогда.

21

Да, заслужил я жребий мой!
Могучий конь в степи чужой,
Плохого сбросив седока,
На родину издалека
Найдет прямой и краткий путь…
Что я пред ним? Напрасно грудь
Полна желаньем и тоской:
То жар бессильный и пустой,
Игра мечты, болезнь ума.
На мне печать свою тюрьма
Оставила… Таков цветок
Темничный: вырос одинок
И бледен он меж плит сырых,
И долго листьев молодых
Не распускал, все ждал лучей
Живительных. И много дней
Прошло, и добрая рука
Печалью тронулась цветка,
И был он в сад перенесен,
В соседство роз. Со всех сторон
Дышала сладость бытия…
Но что ж? Едва взошла заря,
Палящий луч ее обжег
В тюрьме воспитанный цветок…

И, как его, палил меня
Огонь безжалостного дня.
Напрасно прятал я в траву
Мою усталую главу:
Иссохший лист ее венцом
Терновым над моим челом
Свивался, и в лицо огнем
Сама земля дышала мне.
Сверкая быстро в вышине,
Кружились искры; с белых скал
Струился пар. Мир Божий спал
В оцепенении глухом
Отчаянья тяжелым сном.
Хотя бы крикнул коростель,
Иль стрекозы живая трель
Послышалась, или ручья
Ребячий лепет… Лишь змея,
Сухим бурьяном шелестя,
Сверкая желтою спиной,
Как будто надписью златой
Покрытый донизу клинок,
Браздя рассыпчатый песок,
Скользила бережно; потом,
Играя, нежася на нем,
Тройным свивалася кольцом;

То, будто вдруг обожжена,
Металась, прыгала она
И в дальних пряталась кустах…

23

И было все на небесах
Светло и тихо. Сквозь пары
Вдали чернели две горы,
Наш монастырь из-за одной
Сверкал зубчатою стеной.
Внизу Арагва и Кура,
Обвив каймой из серебра
Подошвы свежих островов,
По корням шепчущих кустов
Бежали дружно и легко…
До них мне было далеко!
Хотел я встать — передо мной
Все закружилось с быстротой;
Хотел кричать — язык сухой
Беззвучен и недвижим был…
Я умирал. Меня томил
Предсмертный бред.
Казалось мне,
Что я лежу на влажном дне
Глубокой речки — и была
Кругом таинственная мгла.
И, жажду вечную поя,

Как лед холодная струя,
Журча, вливалася мне в грудь…
И я боялся лишь заснуть, —
Так было сладко, любо мне…
А надо мною в вышине
Волна теснилася к волне
И солнце сквозь хрусталь волны
Сияло сладостней луны…
И рыбок пестрые стада
В лучах играли иногда.
И помню я одну из них:
Она приветливей других
Ко мне ласкалась. Чешуей
Была покрыта золотой
Ее спина. Она вилась
Над головой моей не раз,
И взор ее зеленых глаз
Был грустно нежен и глубок…
И надивиться я не мог:
Ее сребристый голосок
Мне речи странные шептал,
И пел, и снова замолкал.
Он говорил:
«Дитя мое,
Останься здесь со мной:
В воде привольное житье

И холод и покой.

***

Я созову моих сестер:
Мы пляской круговой
Развеселим туманный взор
И дух усталый твой.

***

Усни, постель твоя мягка,
Прозрачен твой покров.
Пройдут года, пройдут века
Под говор чудных снов.

***

О милый мой! не утаю,
Что я тебя люблю,
Люблю как вольную струю,
Люблю как жизнь мою…»
И долго, долго слушал я;
И мнилось, звучная струя
Сливала тихий ропот свой
С словами рыбки золотой.
Тут я забылся. Божий свет
В глазах угас. Безумный бред
Бессилью тела уступил…

Так я найден и поднят был…
Ты остальное знаешь сам.
Я кончил. Верь моим словам
Или не верь, мне все равно.
Меня печалит лишь одно:
Мой труп холодный и немой
Не будет тлеть в земле родной,
И повесть горьких мук моих
Не призовет меж стен глухих
Вниманье скорбное ничье
На имя темное мое.

25

Прощай, отец… дай руку мне:
Ты чувствуешь, моя в огне…
Знай, этот пламень с юных дней,
Таяся, жил в груди моей;
Но ныне пищи нет ему,
И он прожег свою тюрьму
И возвратится вновь к тому,
Кто всем законной чередой
Дает страданье и покой…
Но что мне в том? — пускай в раю,
В святом, заоблачном краю
Мой дух найдет себе приют…
Увы! — за несколько минут
Между крутых и темных скал,

Где я в ребячестве играл,
Я б рай и вечность променял…

26

Когда я стану умирать,
И, верь, тебе не долго ждать,
Ты перенесть меня вели
В наш сад, в то место, где цвели
Акаций белых два куста…
Трава меж ними так густа,
И свежий воздух так душист,
И так прозрачно золотист
Играющий на солнце лист!
Там положить вели меня.
Сияньем голубого дня
Упьюся я в последний раз.
Оттуда виден и Кавказ!
Быть может, он с своих высот
Привет прощальный мне пришлет,
Пришлет с прохладным ветерком…
И близ меня перед концом
Родной опять раздастся звук!
И стану думать я, что друг
Иль брат, склонившись надо мной,
Отер внимательной рукой
С лица кончины хладный пот
И что вполголоса поет

Он мне про милую страну…
И с этой мыслью я засну,
И никого не прокляну!..»

Полка наPROтив
t.me/polkanaprotiv



Вы автор?

Готовы поделиться своим опытом и экспертизой

Мы поможем вам написать книгу с нуля или отредактировать рукопись

Профессионально издадим и будем сопровождать на всех этапах работы

Альпина PRO — входит в издательскую группу «Альпина». Наше издательство стремится распространять знания, помогающие человеку развиваться и менять мир к лучшему.

Взяв лучшее из традиционного издательского

процесса и привнеся в него современные технологии, издательство Альпина PRO более 10 лет специализируется на издании бизнес-литературы. Помогает авторам и компаниям делиться опытом, обучать сотрудников и развивать индустрию.

Используя бутиковый подход к созданию авторского контента в формате 360 градусов, издательство издает и продвигает книги, написанные профессионалами для профессионалов.



Контакты: +7 (931) 009-41-95
Почта: marketingpro@alpina.ru

Источники иллюстраций

{1} Портрет Михаила Лермонтова. Петр Заболоцкий, 1837 год. Государственная Третьяковская галерея.

{2} Барский дом в Тарханах. Shutterstock.com.

{3} Портрет Джорджа Байрона. Гравюра с картины Джорджа Сандерса.

{4} Портрет Степана Шевырёва. Фотография К. А. Бергнера, литография В. Бахмана. Государственный музей А. С. Пушкина.

{5} Портрет Андрея Краевского. Фотография А. Деньера, литография П. Ф. Бореля. 1859 год (?). Государственный Лермонтовский музей-заповедник «Тарханы».

{6} Титульный лист журнала «Библиотека для чтения» с первой публикацией «Хаджи Абрека» (1835, т. 11).

{7} Портрет Александра Пушкина. Всероссийский музей А. С. Пушкина, Санкт-Петербург.

{8} Михаил Врубель. Демон сидящий. 1890 год. Государственная Третьяковская галерея.

{9} Портрет Виссариона Белинского. Рисунок К. А. Горбунова, литография П. Ф. Бореля. Русский музей, Санкт-Петербург.

Примечания

1. Вацуро В. Э. Поэмы М. Ю. Лермонтова // Вацуро В. Э. О Лермонтове: Работы разных лет. — М.: Новое издательство, 2008. — С. 544.

2. Описание рукописей см. в комментариях к академическим изданиям Лермонтова, например: Лермонтов М. Ю. Собрание сочинений: В 4 т. Т. 2. — СПб.: Издательство Пушкинского дома, 2014. — С. 582–587 (комментарии О. В. Миллер и Ю. М. Прозорова).

3. Эйхенбаум Б. М. Лермонтов: Опыт историко-литературной оценки. — Л.: Гос. изд-во, 1924. — С. 24. (Эта давняя работа до сих пор остается лучшим описанием лермонтовской поэтики и ее эволюции.)

4. Там же. С. 27.

5. Вацуро В. Э. Поэмы М. Ю. Лермонтова // Вацуро В. Э. О Лермонтове: Работы разных лет. — М.: Новое издательство, 2008. — С. 545.

6. Лермонтов М. Ю. Собрание сочинений: В 4 т. Т. 4. СПб.: Издательство Пушкинского дома, 2014. — С. 305, 307.

7. О роли пародии в этих текстах Пушкина см.: Гаспаров М. Л., Смирин В. М. «Евгений Онегин» и «Домик в Коломне»: Пародия и самопародия у Пушкина // Тыняновский сборник: Вторые Тыня-

новские чтения. — Рига, 1986. — С. 254–264.

8. Воспоминания Шан-Гирея см.: М. Ю. Лермонтов в воспоминаниях современников. М.: Художественная литература, 1989. — С. 52.

9. Белинский В. Г. Стихотворения М. Лермонтова [1841] // Белинский В. Г. Полное собрание сочинений: В 13 т. Т. 4. — М.: Изд-во АН СССР, 1954. — С. 504.

10. Эти воспоминания Краевского дошли до нас в записи историка литературы и общественной мысли Александра Пыпина: Пыпин А. Н. Лермонтов // Лермонтов М. Ю. Сочинения. — 3-е изд., вновь сверенное с рукописями, испр. и доп. — СПб.: Изд. книгопродавца А. И. Глазунова, 1873. Т. 1. — С. LII.

11. Здобнов Н. В. Новые цензурные материалы о Лермонтове // Красная новь. 1939. №10–11. — С. 259–260.

12. Лермонтов М. Ю. Собрание сочинений: В 4 т. Т. 2. СПб.: Издательство Пушкинского дома, 2014. — С. 633.

13. Об этом Краевский рассказывал биографу и издателю Лермонтова Павлу Висковатому: Лермонтов М. Ю. Сочинения. Т. 6. — М.: Типо-лит. В. Ф. Рихтер, 1891. — С. 294.

14. М. Ю. Лермонтов в воспоминаниях совре-

менников. М.: Художественная литература, 1989. — С. 308.

15. Лермонтов М. Ю. Сочинения / Под ред. П. А. Висковатова. Т. 2. М.: Типо-лит. В. Ф. Рихтер, 1889. — С. 230–253.

16. Здобнов Н. В. Новые цензурные материалы о Лермонтове // Красная новь. 1939. №10–11. — С. 266–267.

17. Вацуро В. Э. Запись в цензурной ведомости // Вацуро В. Э. О Лермонтове: Работы разных лет. ред. М.: Новое издательство, 2008. — С. 175–179.

18. Розен Е. Ф. Стихотворения М. Лермонтова // М. Ю. Лермонтов: Pro et contra. — СПб.: РХГИ, 2002. — С. 154.

19. Шевырёв С. П. Стихотворения М. Лермонтова // М. Ю. Лермонтов: Pro et contra. — СПб.: РХГИ, 2002. — С. 133.

20. Белинский В. Г. Стихотворения М. Лермонтова // М. Ю. Лермонтов: Pro et contra. — СПб.: РХГИ, 2002. — С. 517.

21. М. Ю. Лермонтов: Pro et contra. — СПб.: РХГИ, 2002. — С. 133, 157.

22. Белинский В. Г. Стихотворения М. Лермонтова // М. Ю. Лермонтов: Pro et contra. — СПб.: РХГИ, 2002. — С. 537.

23. См. письмо от 17 марта 1842 года (Белинский

В. Г. Полное собрание сочинений: В 13 т. Т. 12. М.: Изд-во АН СССР, 1956. — С. 85).

24. Полная русская хрестоматия, или Образцы красноречия и поэзии, заимствованные из лучших отечественных писателей / Сост. А. Галахов. — М., 1843. Ч. 2. — С. 45–47 (под заглавием «Отрывки из Поэмы»).

[1] О романтической эстетике как об эстетике экспрессивной, то есть связанной с выражением души автора, см. прежде всего классическую книгу Мейера Ховарда Абрамса «Зеркало и лампа» (Abrams M. H. The Mirror and the Lamp: Romantic Theory and the Critical Tradition. London; New York; Oxford, 1953), а также недавно вышедшую в русском переводе книгу Гвидо Маццони (Маццони Г. О современной поэзии / Пер. с итал. А. Ямпольской. — М.: Новое литературное обозрение, 2024).

[2] Греческое восстание против владычества Османской империи началось в 1821 году. В 1829-м, после поражения Османской империи в Русско-турецкой войне, Греция получила автономию, а впоследствии была признана независимым государством. Во время борьбы пользовалась поддержкой Великобритании, а позже — Российской империи.

[3] Оссиан (правильнее Ойсин) — легендарный кельтский бард, предположительно живший в III веке. В 1761–1762 годах шотландский поэт Джеймс Макферсон опубликовал цикл эпических произведений, якобы принадлежащих перу Оссиана: эти поэмы получили огромную популярность в Европе и породили моду на кельтскую

древность. Впоследствии выяснилось, что поэмы были мистификацией: Макферсон оказался их настоящим автором.

[4] Наиболее подробно особенности жанра и история «байронической поэмы» на русской почве описана в классической книге Виктора Жирмунского «Байрон и Пушкин» (1924). Отсылаем читателя к позднейшему переизданию*:* Жирмунский В. М. Байрон и Пушкин. — Л.: Наука, 1978.

[5] Об этой особенности лермонтовского творчества хорошо писала Лидия Гинзбург в книге «О лирике» (Гинзбург Л. Я. О лирике. — Л.: Советский писатель, 1974. — С. 154–157).

[6] Металитературными называют произведения, предмет которых составляет сама литература. Байроновские и пушкинские поэмы могут быть названы металитературными, поскольку за их сюжетами скрывается игра авторов с литературными конвенциями их времени.

[7] Екатерина Александровна Сушкова (1812–1868) — мемуаристка, близко знавшая Лермонтова. Лермонтов был влюблен в нее, затем в отместку за ее безразличие расстроил ее помолвку со своим другом Алексеем Лопухиным.

Впоследствии Сушкова вышла замуж за дипломата Александра Хвостова. Фрагменты из ее записок о Лермонтове см., например: М. Ю. Лермонтов в воспоминаниях современников. — М.: Художественная литература, 1989. — С. 86–130.

[8] Белорусская бурлескная поэма, пародирующая «Энеиду» Вергилия. Была написана в 1820-х годах, приписывается Викентию Ровинскому.

[9] Василий Петрович Боткин (1811–1869) — литературный критик, публицист. В середине 1830-х годов сблизился с Белинским, участвовал в кружке Станкевича, публиковался в журналах «Телескоп», «Отечественные записки», «Московский наблюдатель». В 1855 году стал сотрудником «Современника» Некрасова. Много путешествовал, после поездки в Испанию опубликовал в «Современнике» цикл «Письма об Испании». В конце 1850-х разошелся во взглядах с демократами и начал защищать эстетический подход к искусству.

[10] Наслаждайся и страдай!
Терпи и смиряйся!
Люби, надейся и верь!
Конц *(нем.)*

[11] Маркиз де Тесс (*фр.*).

[12] Сударь, это мое дело (*фр.*).

[13] «Ну, сударь, что я вижу?» — «Ах, это вы!» «Что это за шум? Что вы делаете?» — «Я <...>!» (*фр.*)

[14] Вдвоем (*фр.*).

[15] Покрывало. — *Прим. Лермонтова.*

[16] Вроде волынки. — *Прим. Лермонтова.*

[17] Верхняя одежда с откидными рукавами. — *Прим. Лермонтова.*

[18] Стремена у грузин вроде башмаков из звонкого металла. — *Прим. Лермонтова.*

[19] Шапка, вроде ериванки. — *Прим. Лермонтова.*

[20] Чингар — род гитары. — *Прим. Лермонтова.*

Знак информационной продукции (Федеральный закон № 436-ФЗ от 29.12.2010 г.)

16+

Автор предисловия — Алина Бодрова, кандидат филологических наук, доцент НИУ ВШЭ, старший научный сотрудник ИРЛИ РАН (Пушкинский Дом)

Тексты печатаются по изданию: Лермонтов М. Ю. Собрание сочинений в 4 томах. Т. 2. — М.: Государственное издательство художественной литературы, 1958.

Главный редактор: *С. Турко*

Руководитель проекта: *А. Василенко*

Корректоры: *Н. Витько, Т. Редькина*

Компьютерная верстка: *К. Свищёв*

Художественное оформление и макет: *Ю. Буга*

© Бодрова А., предисловие, 2024

© ООО «Альпина Паблишер», 2024

© Электронное издание. ООО «Альпина Диджитал», 2025

Лермонтов М.

Демон. Поэмы / Михаил Лермонтов. — М.: Альпина Паблишер, 2024. — (Главные книги русской литературы).

ISBN 978-5-0063-0176-4